

ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА



# БЛАГОВЕСТ

**ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА**

# **БЛАГОВЕСТ**

**Повесть**

**ВЕРА ВО ВТОРОМ МИРЕ  
ЦОЛЛИКОН**

**1983**

**Издание этой книги стало возможным  
благодаря фонду швейцарского объединения  
ВЕРА ВО ВТОРОМ МИРЕ  
для оказания литературной помощи**

**ISBN 3 85710 030 3**

**© 1983 World Copyright by  
GZW-Verlag Zollikon  
Bergstr. 6 Postfach 9  
CH-8702 Zollikon**

*Посвящается З.А.С.*



*В мире будете иметь скорбь;  
но мужайтесь: Я победил мир.  
(Ио. 16, 33)*

## 1

Под утро, а то и среди ночи ее будил благовест.

Колокола звенели чуть пониже сердца, только звон их рождался в немыслимой глубине и потому слышался еле-еле.

Кажется, она никогда не слышала настоящего благовеста, разве что в детстве или в кино. Но детство почти ничего не оставило о себе такого, чтобы теперь можно было вспоминать, не оставило оно и колокольного звона.

А в кино благовест был лживый и от него тоже ничего не осталось.

И потому, когда Вера Дмитриевна услышала в первый раз его там, чуть пониже сердца, она поняла: значит недолго осталось. Пора собираться.

Колокольный звон то удалялся и чуть ли не вовсе стихал, то делался ближе. Он был чистый и ясный, хоть и приглушенный, но все же не такой при-

глушенный, как на Пасхе в Никольском храме. Казалось, они ждут ареста, те колокола или в страхе перед подслушивающими приборами шепчутся, не договаривая фраз и мыслей до конца. Нет, то был не благовест еще, то были возгласы плененных, возгласы и тайные печальные вздохи. Плен, пленники, пленная страна и пленные колокола ее. Вот-вот, именно эти слова сейчас поют колокола, но почему же радостно?

Вера Дмитриевна помнит, как пришла эта мысль о плене. Она стояла в церкви. Это было кажется в первый или во второй приход ее туда после возвращения. Она не знала, как молиться и сосредоточиться ей тоже не удавалось, ее нес куда-то вихрь восторга, а когда он утихал, из глубины существа выползал страх. И тогда она украдкой оглядывалась, всматриваясь в лица стоящих за ней.

У самых дверей стояла группа парней и девушек. "Патруль! Дружинники!" — сердце упало вниз. И тогда один из парней, а вслед за ним и другие, перекрестились. Господи, помилуй меня.

Утробные мысли — так называла она свой страх — обладали страшной властью и бороться с ними было трудней всего. Раньше, до тех пор, пока она не узнала, откуда и почему они возникают, Вера Дмитриевна не замечала их самостоятельности, отдельности и сжилась с их неизбежностью. Но с тех пор, как она узнала о том, что ее утроба это — не вся она, а утробные мысли — не ее собственные, а утробные, чужие, значит, принадлежащие тому, что существовало в ней по попустительству ее, бесправно, она мо-

гла и вспомнить откуда они истекали. И почему-то видела всегда одно и то же — как ее маленькую, подбрасывает вверх отец, а мать кричит: "Осторожно, уронишь сейчас!" И гулкую пустоту внутри, безумие страха, липкую слабость, затапливающую ее потом слишком часто.

Колокола не уживались со страхом. Тем более, что они размещались на одном и том же пространстве — где-то глубоко под сердцем.

Там находилась непонятная глубина без измерения, начала и конца. И на самой поверхности ее, как на невозмутимой гладкости глубоководного озера небесного цвета, примостился страх.

Вера Дмитриевна видела яркую бирюзовую поверхность, ослепительную и в то же время нежную, поверхность, захваченную дрожью. Дрожь сковала колокола и поэтому, наверное, они не могли свободно раскачиваться. И тогда просыпалась боль.

Она знала эту боль давно. Раньше она посещала ее редко, может быть, не более пяти раз всего-то, но уже во второй раз, проснувшись с болью, Вера Дмитриевна догадалась, что боль эта — не случайность, а напоминание.

Потом позднее, когда она стала расти из ночи в ночь и сначала опалать, а потом сжигать почти дотла все, что размещалось под сердцем и вокруг него, Вера Дмитриевна поняла, что в организме ее все непоправимо нарушилось. И вылечить это известными ей, как врачу, способами невозможно. Тогда она начинала искать пути борьбы с утробой, обходные и прямые пути эти вели то к ублажению боли лекарства-



ми, одурманивающими сознание, то к отвлечению, к уходу от нее.

Уходить удавалось ненадолго — на минуты и то ценой невероятных затрат воли. И тут наиболее преуспевал страх — он побеждал боль. Или она нарочно ему сдавалась, уступала, ведь они были союзниками.

А наиболее преуспевал ужас перед тремя безднами. И для того, чтобы отдохнуть от боли, нужно было своей волей погрузиться в них.

*Первая бездна.* — Надо ползти на кладбище, — сказала мать, — там ровное пространство и это менее опасно при землетрясении. Кто-то сказал ей об этом только что. Но кто, Вера не знала. В лампочке, раскачивающейся неизвестно отчего — в комнате были закрыты окна, задернуты занавески и не было ни ветерка, — свет тлел в четверть накала. Все (кто — она не помнила, не знала) сидели посреди комнаты за круглым столом под раскачивающейся лампой. Свет убывал, уже только волосок рдел в лампе и казалось вот-вот их (кого, она не помнила, и лиц их не видела) накроет тьма. Тогда и поползем. Кладбище недалеко, но ползти до него долго. Мы добежим до каштана, а там будем ползти. Каштан уже накренился и корни вылезли из развороченной земли. Теперь она лежит, наконец, между могил и почему-то вокруг нее в белом — обязательно в белом! В саванах, что ли? — движутся тени. Они красивые, но лучше бы не знать этой красоты. Они то пригибаются к земле, то плавно воспаряют над ней невысоко и перелетают с места на место. Они не со-

общаются друг с другом и танец их — танец ли? — совсем обычен, как на большой сцене в полуосвещенном зале. И вот она привыкает к их одиноким живым скульптурам, и тогда под землей раздается толчок — он должен выворотить могилы, так же как корни каштана, должен обнажить нутро земли и тогда она, может быть, увидит кости, черепа, кладбищенский прах. Толчок настолько силен, что напоминает грохот орудий и разрывы падающих бомб. Это война, а вовсе не землетрясение. Ведь содрогается то, что *на* земле, а не *под* нею. И хорошо, это хорошо, что она не увидит рассыпавшихся скелетов и черепов, тем более, что их нет на самом деле — это выдумки трусов — белые фигуры, натанцевавшись, улетели на небо, ничуть не сожалея об оставленном здесь прахе. Ведь обещаны нам новое, наверное, легкое тело, как и новое небо и новая земля. Они улетели за секунду, за полсекунды до взрывов. Будто хотели прорваться в те новые небеса до тех пор, пока эти, те, что над нами, земные, не начнут плескаться в нас огнем. Кладбище становится ловушкой — на открытом месте нельзя укрыться от бомб. Раз это — не землетрясение, а война, значит, надо было бежать не сюда, не на кладбище, а в щели. Можно укрыться в яме, оставшейся от корней каштана, но туда ползти слишком далеко. Где-то чуть поодаль стоит церковь, но в церковь зайти нельзя — на Вере красный галстук, снять его стыдно, а войти в нем тоже стыдно. Что скажут старухи в черных платках? Сними, дитятко, галстук, зачем он тебе? И черная сморщенная рука дотянется до твоей шеи. Нет, в церковь не-

льзя — туда не пустят. Можно только минутку постоять у дверей, пока не заметили, а вглубь, где как раз безопасно — нельзя. Рядом с церковью есть, кажется, чей-то фамильный склеп, но он завален камнями и забит досками. А бомбы падают уже совсем близко и рядом с ней, с Верой Дмитриевной — ее дочь, Маша, Маняша. Тоненькие ручки лежат бессильно вдоль тела. С ней произошло что-то ужасное, она то маленькая и мертвая, ее только что кто-то (кто она не знает) принес на руках и положил рядом — у нее кровавый рубец у виска, то взрослая, истерзанная в грязной рваной рубашке. — Я не хочу умирать, мама! — кричит она. — Спаси меня!

Нет, она молчит, это Вера Дмитриевна почему-то слышит ее крик:

— Спаси меня, мама!

А она бессильна.

Боже, я бессильна. Я без Тебя совсем ничего не могу...

И тогда первая бездна переливается во *вторую бездну*. Они все еще лежат между могил. Могилы тесно прижились друг к другу и меж ними нет оград. Это могильное поле, свежее могильное поле с недавно вырытыми могилами. Они низкие и за ними почти невозможно укрыться. Вера Дмитриевна и Маша еле втиснулись в узкое пространство. Они одни остались, совсем одни на всем белом свете. Зачем они остались одни, когда уже нет никого и все уничтожено, все погибло, кроме этого могильного поля? За краем его — чернота. Это смерть. Хоть бы скорей все кончилось. Они уже близко, эти маленькие лю-

ди (да и люди ли это?) с одинаковыми безглазыми скуластыми лицами и одинаковыми приземистыми фигурками. Впереди них — черный огонь. Он стелется по земле и оставляет после себя пепел. Оттого и нет трупов вокруг, только серый пепел.

— Спаси меня, мама! — опять шепчет девочка. — Я не хочу умирать, — голос ее слышится издалека, из-под земли, из-под пепла.

— Ты не умрешь, никогда не умрешь, не бойся только, — хочет крикнуть Вера, но у нее пропал голос, она только шевелит губами.

И слышит в ответ:

— У меня все болит.

— Сейчас пройдет, ты только не бойся, — должна она успокоить девочку. Но та уже остывает на ее руках.

Неужели я останусь одна? Господи, только не оставляй меня одну!

И вслед за этим *третья бездна*. У нее другой цвет. Не серый, не могильный. И ритм ее существования другой. Не вялый, не мертво-мерцающий и не щемяще-печальный. И Вера уже не та. Это оттого, что эта бездна реальней всех прочих. Она разверзлась здесь, не на кладбище, а в комнате.

Это камера. И здесь тоже никого нет, кроме нее. Только крысы. Они в любую минуту могут взобраться на кровать и потому нельзя засыпать ни на мгновение. Но почему всегда одно и то же, почему крысы? Она читала про это не раз, про крыс в тюремных камерах... Хоть бы вызвали скорее к следователю.

И вот она идет по длинному коридору с завязанными глазами, отталкиваясь руками от стен. Она одна, ее никто не сторожит, все механизировано в этой тюрьме. Но она рада, что коридор длинный и стены откатывают ее от себя, а потому не нужно делать никаких усилий — ее прикатят туда, куда нужно. Это время отдыха, она отпустилась, распустилась, отдыхает, отдала стенам свое напряжение.

О, как хорошо перекатываться мешком между стен и даже хорошо, что завязаны глаза: они тоже отдыхают, они устали высматривать в темноте крыс.

Но вот отдых кончается — с глаз срывают повязку и ослепительный свет бьет по глазам. Садиться ей не предлагают, а она стоит долго и ноги становятся ватными. Хорошо, что я изредка делала гимнастику и теперь ноги мои выдерживают это стояние. Но сколько еще стоять? Она хочет говорить и ждет, когда ее начнут спрашивать. Но ее ни о чем не спрашивают, ее рассматривают под ослепительным светом и это утомительно и неприятно.

Она знает теперь, что те, кто направил на нее прожекторы, ненавидят ее, она чувствует их ненависть всеми порами своего отяжелевшего тела. Она не видит их лиц, они расплылись в белые, ослепительно белые, безглазые пятна, и только голоса их напоминают о том, что они — люди.

— Мы замучаем, убьем тебя, но не сразу, а медленно, и об этом не узнает ни одна живая душа, не надейся на гласность, на публичность, мы убьем тебя. Но до этого ты предашь на такую же смерть всех, кого ты любишь и кого любила: и дочь твою, и

любовников твоих, и так называемых друзей...

Но почему всегда одно и то же? Где-то она уже слышала или читала про такое же? Ведь это уже было, было, было! Как однообразен дьявол!

— Ты будешь отрекаться, будешь предавать, а мы покажем тебе, как они будут умирать из-за тебя, из-за твоей слабости, которую ты выдавала за силу. Из-за твоей подлости, которую ты полагала честностью. И когда ты убедишься в своей мерзости и ничтожестве, мы отпустим тебя жить. Попробуй после этого считать себя не такой, как мы. Ты — ничуть не лучше нас, ты — такой же червь, такое же животное, ведь ты любишь жить, не правда ли? Ты любишь свой покой, любишь жить удобно и уютно, любишь *свое* — свою совесть, свой разум, свою постель, свой стол, свой порядок. Ты не хочешь называть это комфортом или "гнездышком", как называл это твой отец. Тебе стыдно признаться, что ты это любишь. Но не дрожи уж так, мы вернем все это обратно. Только заплати нам совестью.

Она смеется громко, так громко, как никогда прежде не умела.

Так смеялся ее покойный муж Матвей. Он закидывал голову, у него выпячивался кадык, как у какой-то грозной птицы, и он громко гортанно хохотал. Не весело, не оттого вовсе, что ему было смешно, он сокрушал смехом наглость и претензии глупцов. Она не умела так смеяться, не любила смотреть на высоко поднятую голову Матвея... Вот как, оказывается, он все это время жил в ней, прав-

ду, значит, говорят, что мы связаны друг с другом так, что порой переселяемся друг в друга.

Палачи удивились и даже свет потускнел и перестал слепить ее. И тогда один из них, тот, что стоял у самого прожектора, выплеснул ей в лицо стакан кипятка, а может, это был стакан с какой-то кислотой. Она схватилась руками за лицо. "Теперь меня никто не узнает", — закричало в ней отчаяние.

И это тоже уже было, было, было...

Как жалко ей красоты своей, какой ужас охватил ее, когда она увидела, что за маска появилась на ней! Воспаленные, вывернутые наизнанку веки, синие огромные губы и струпья, сылошь покрывшие лицо.

— Теперь ты будешь говорить, — сказал тот, что стоял у прожектора, а она, уродливая, с опухшими ногами, босая, стояла лицом к свету и слезящиеся, гнойные глаза ее почти ничего не различали.

— Теперь я уж точно не буду говорить ничего. Я не умею с вами говорить, — ответила она и почувствовала, как освободилась от чего-то, что мешало ей.

Тогда привели ее дочь. У Маши были почему-то смущенные и умоляющие глаза. Но взглянув на мать, она закрыла лицо ладонями.

— Ты будешь отрекаться? Иначе мы с ней сделаем то же!

— Мама! Спаси меня, — еле слышно прошептала девочка. — Я не хочу умирать.

— Прости меня, но я не могу тебя спасти, — сказала Вера Дмитриевна жестко. — Ты сама должна...

Господи! Ты ведь слышишь нас! Помоги ей! Она совсем без Тебя бессильна!

И тогда свет погас, внезапно перегорели все прожекторы. И она оказалась на сером карнавале. На подземном карнавале.

Ее окружали люди в масках, таких же, как на ней. Они были все на одно лицо — изуродованные, с выпученными гноящимися глазами, беззубыми ртами, жители подземного лагеря, в который превратилась ее родина, подчинившись сатане, и за его посулы позволившая воздвигнуть престол на своей земле. Теперь служителям его — оккупантам и тем, кто сотрудничал с ними не хватало места на земле и они поселяли пленных под землей. Пленники как кроты на тачках перетаскивали без всякого смысла камни с одного места на другое.

Это был бессрочный карнавал и потому в этой жизни он не имел продолжения. В нем все три бездны исчерпывали себя. Ужас становился повседневностью, тягучей обыденностью и больше не устраивал боль. Боль очнулась и разогнала карнавал...

Вера Дмитриевна отерла слезы и протянула руку к лекарству. Воды в стакане не было, а будить Машу она не хотела. Идти за водой не было сил пока: существование в безднах истощило ее. Значит, оставалось еще одно средство притупить боль: надежда.

Она редко пользовалась этим даром, словно боялась неэкономно поступить с ним, растратив его запас прежде времени.

Она легла на спину, расслабившись, как на во-



де. Море — это всегда чудо, вспомнила она мелкие вихри на синей безбрежной поверхности. Она легла прямо на эти вихорьки и вытянула руки вдоль тела. Теперь она слилась с яркой лазурью, сама стала лазурью, глубоководное озеро внутри нее вливалось в безбрежную синеву моря и неба. Уже трудно стало, почти невозможно отличить яркую синеву моря от лазури неба. Только сияние на небе значительно ярче, чем на море. Она знает, откуда льется это сияние, она видит его гигантские неистощимые потоки. И там, вдалеке от источника, но все же в той стороне, она видит маленькую черную точку. Это она, Вера Дмитриевна, крошечная точка у Бога, знает она. Совсем песчинка, незаметная, но живая, еле-еле видимая ей самой. Ее окутывают, поддерживают ярко-золотые снопы лучей. И боль отступает, засыпает или тонет в яркой лазури глубоководного озера.

Тогда из самой глубины и возникает благовест. Вера Дмитриевна не слышит его сначала, только чувствует его присутствие. И понимает, что он и не утихал вовсе, да и не утихнет, потому как дарован в помощь в ее последний час, а дары Господни, она знала, непреложны. От них можно только самой отказаться, и вот только что погружаясь в бездны ужаса, она удалялась от них.

Она всю жизнь бежала от даров. А они были рассыпаны повсюду. Теперь иногда она видела их россыпи с закрытыми глазами — лучи света проходили сквозь стены, потолок, пол, светились на книгах, сияли радостным огнем из иконных ликов, озаряли лица людей, искрились на снегу.

Снег был не снег, а такое же непонятное чудо, как море. Он убелял людей, соединяя их своей белизной. Будто главной его заботой было соединение всего, к чему бы он царственно ни прикасался. Особенно в России.

Чудо всегда соединяет. Она не может забыть, как несколько лет назад, будучи в приморском городе, она каждый день на берегу моря видела старого узбека и каждый раз радовалась ему. Он стоял в ватном засаленном халате и розовой потертой тюбетейке на волнорезе в одной и той же позе, говорящей о глубокой и печальной задумчивости. Он что-то видел на поверхности моря, и она хотела тоже увидеть это, но всякая фантазия была бессильна представить ту реальность, что виделась этому старику.

В России не было моря, и потому у снега было больше забот по соединению людей.

Еще весной, совсем недавно, еще до начала благовеста, выпал утром снег. За городом его всегда было больше, чем в городе. В городе им не дорожили и ему было скучно там, он стремился поскорей уйти оттуда. Скучно падать на однообразные дома и подстриженные по ранжиру деревья, а на даче кругом лес, и деревья, раскинув ветви, принимали снег в себя, ждали, чтобы он наконец соединил их.

Снег и связал их ветви друг с другом — он на сей раз сыпал горстями, крупными звездами и через час, другой все вокруг слилось воедино.

Вера Дмитриевна думала, что мир един, а снег для того и явился, чтобы перед уходом своим до

следующей зимы напомнить об этом единстве. В конце концов важно было только набросать этот рисунок однажды, и это уже не исчезнет. Явленное чудо — она это знала теперь — навечно вписано в пространство, которое условно названо нами миром. Это Николай Георгиевич любит повторять. Когда он теперь приедет и застанет ли ее?

Вера Дмитриевна взяла со стула его последнее письмо. Оно было сшито в маленькую тетрадь.

## 2

”Милая моя!

Раньше четверга не смогу выбраться к вам и потому посылаю тебе весточку о себе...

Она, чувствую, будет длинной, как и предыдущее мое письмо-дневник. Писать к тебе вошло уже в привычку и я в уме все время пишу тебе и ловлю себя на том, что не хочу ждать четверга. Ты просишь написать тебе побольше о нашем храме. Ты тоскуешь, лежа дома. Но я верю, ты скоро поднимешься и приедешь сюда. И сама все увидишь. Описать ведь храм нельзя, его можно только слышать сердцем, а если внешний его портрет описать, то он похож на Успенский в Корсаково, только меньше, с одним алтарем и хор наверху. Поют неплохо, в основном женщины. Ты не сердись уж, что я не описываю подробно. У меня другая цель. Приготовился тебе написать об одной встрече, хотел было рассказать в четверг, но не могу ждать, уже две ночи не сплю, сочиняю тебе письмо — боюсь забуду.

Так вот: к батюшке нашему изредка приезжала одна женщина из Москвы, она давняя его прихожанка. Ведь ты знаешь, что он служил когда-то там на окраине, не то в Измайлово, не то чуть ближе к городу — я точно не знаю. Они не оставили друг друга. Ездил она к нему в Корсаково, а когда мы перебрались сюда, она стала бывать и здесь. Не часто — раз в месяц, а то и реже, в посты чаще. Иногда оставалась ночевать у кого-нибудь из служащих. Отец Сергей меня с ней познакомил и, представь, она оказалась нашей коллегой с тобой, работала в психиатрической лечебнице. Это я теперь узнал от нее. Она училась в том же институте, что и мы. Я, конечно же, не припомнил ее — ведь у меня скверная память на лица. Она меня тоже не вспомнила. А тебя помнит. "Ну, как же, такая большеглазая, интересная особа, покорительница сердец, и гордая очень". Больше ничего не сказала, только это. Выяснилось, что она из священнической семьи, дед ее был сельским батюшкой, и его убили в 20-х годах, а отец до революции не успел закончить духовную академию, чудом спасся, уехал вглубь России и стал агрономом-самоучкой, умер не так давно. Но все это в конце концов не суть важно. Важно другое, что уезжает она навсегда отсюда не то в Израиль, не то еще куда-то — неудобно мне было расспрашивать.

Если бы ты видела, как плакала она во время исповеди! Я был в алтаре и тоже плакал. Вспомнил свою исповедь первую после обращения — ты знаешь, о чем я говорю, я тебе рассказывал. Так же

плакала и она. Без жалости к себе. Беззвучные почти рыдания ее слышал весь храм. Я не знал еще тогда, что она приехала прощаться, и подумал, что у нее случилось большое горе. Умер кто-то, может, муж, — подумал я и помолился о нем, не зная имени его. А ее зовут так же, как и тебя. Вот, какое совпадение. Может быть, ты и вспомнила бы ее: она круглолицая, светлые глаза, волосы, видно, темные были, сейчас седые, очень худая и высокая, выше тебя. Да нет, мы все так изменились, что глупо описывать тебе ее в надежде, что ты вспомнишь. И это не обязательно.

После службы я подошел к ней, и она сказала, что хочет со мной поговорить. Я позвал ее к себе. Пришла уже под вечер и не одна, со стариком-свекром и сыном, юношей лет пятнадцати. Они приехали позже нее и решили остаться на другой день. Я пригласил их переночевать у меня. Вера пошла на ночлег к старостихе. Василий Ипполитович и Егор остались у меня. Вначале, когда они только еще пришли, она тут же объявила мне, что у них "чрезвычайное дело". Она так и сказала "чрезвычайное", и я поразился этому слову. Давно уже его не слышал и сам редко говорил. Потому оно, наверное, и напугало меня. Может, напомнило чрезвычайную комиссию, печальной памяти так называемое ЧК. Что все-таки значит слово! Какую энергию воспоминаний и смыслов несет оно! Так вот, она сказала, что родные ее опоздали к литургии, а им надо причаститься и заказать молебен. Придется остаться назавтра. Сейчас она пойдет на почту и позвонит мужу, чтобы он не

беспокоился. Все это она выпалила сразу и почти без передышки сказала: "Уезжаем мы, Николай Георгиевич, и больше не увидимся, все".

Я сразу понял, что они уезжают совсем из России, вспомнил, как плакала она и на глаза мои навернулись слезы. Она, наверное, заметила, и сама заплакала. Так мы и стояли молча и у всех у нас были слезы. Даже у мальчика. Мальчик такой же худой, как наша Настя.

Когда они вернулись с почты, мы сели пить чай и уже совсем были родными. Это оказалась очень замечательная семья. И такая русская, даже я бы сказал российская. Как удалось им вобрать в себя и сохранить в себе частицу России — трудно сказать. Пронести ее через все и даже одарить этим мальчика... Видно, это неистребимо, слава Богу! И частиц этих с годами становится ничуть не меньше, напротив, они множатся. Они как зерна прорастают на нашей забитой терниями земле, выбирая себе места поглубже, куда можно пустить корни. И вот случайно ты встретишь — со мной это теперь случается сплошь и рядом — то, что, казалось, уже давно растоптано копытами, раздавлено гусеницами, колесами, превращено в прах. А оно такое живое на самом деле чувство родины, не места под солнцем, как любят у нас выражаться, а дороги от дома к храму. Сколь бы ни была длинна эта дорога, и на чем бы ты ее не преодолевал... Я и раньше это чувствовал, что родина наша в храмах стоит, только истиной и дышит, под толстой корой льда бьются теплые струи, размывая потихоньку лед. И пред-

ставь себе, они, особенно старик, то же самое говорили. Ну, немного иными словами, но то же самое.

А разговор сразу зашел об их отъезде. Я конечно не решился спросить, почему они едут. Тут пришел отец Сергей и все быстро разъяснилось. Муж Веры должен уехать непременно, иначе ему не миновать тюрьмы. Он уже отсидел один срок по политическим мотивам и ни ему; ни старику еще одного срока не выдержать. Их довольно легко выпускают отсюда — он слишком шумно вел себя в последнее время, а сейчас — они мне рассказали — хотят поскорее вытолкнуть всех скандалистов, чтобы тихо стало. Словом, чтобы соглядатаев не было. Не понимают, что Россия — живой организм и смерти ее Бог не попустит.

Ну так вот, он, Верин муж, подал документы полгода назад и не думал, что так скоро ему придет разрешение. Оно свалилось на них, как снег на голову, хотя уже все было вроде бы обдуманно и взвешено.

— Христианин не имеет пребывающего града, а взыскует грядущего, — два или три раза повторил Василий Ипполитович. И я догадался, что он все время повторяет эти слова про себя и вслух, как заклинание.

— Да, не имеет пребывающего града, — сказал отец Сергей, — не имеет. Поезжайте, раз уж так пришлось. Вера Ивановна будет работать, Егор учиться, а вы писать будете. Я кое-что читал из вашего и мне понравилось. Теперь нужно свидетельствовать о Христе в России. Вы знаете, конечно, что когда вы-

сылали Бердяева, ему отец Алексей Мечев сказал: "Поезжайте, Запад должен узнать о России". Они там превосходно потрудились. Запад и узнал многое о России с той поры, о православии, о русской истории и культуре. Дай Бог нынешней эмиграции, хотя бы часть такой работы поднять. Теперь новая пора, совсем непохожая на ту. Соблазн, который пережила и еще переживает Россия, опасен для Запада сейчас особенно. Но Господь сподобил нас увидеть новое время. Время пробуждения. Придет время и Россия поможет и Западу. Сейчас надо свидетельствовать о ее рассвете. Это еще совсем раннее утро, еще сумерки, но они насквозь пронизаны уже животворящими лучами. Его предчувствовали, это время, и пророчествовали о нем те русские, что сюда не вернулись. Они, можно сказать, вернулись духовно — своими сочинениями о России и участвуют теперь в ее пробуждении. Вот как дорого каждое слово. Ничто не исчезает бесследно. Приходит туда, куда послано.

Он говорил торжественно, будто проповедь читал с амвона и мы невольно склонили головы. А потом долго молчали. И наконец Василий Ипполитович сказал:

— Там мы никому не нужны.

Сказал тихо, но в отличие от отца Сергия жестко как-то.

— Я — старый человек. Я очень старый человек и могу позволить себе стать вдруг ребенком. Наконец, теперь могу себе позволить стать ребенком, — он обвел нас взглядом и произнес длинную речь. Мо-



жет, я не все запомнил — она была сбивчива. Но главные его мысли я, кажется, запомнил. И постарался изложить, как можно стройнее. Даже два раза переписывал ее. Во-первых, потому что очень хотел, чтобы ты все это слышала, а во-вторых, потому что очень уж это было близко мне.

— Позвольте вам ответить, отче. Ваше напутствие я никогда не забуду. Приятна мне и ваша похвала и надежда на то, что я, старый человек, смогу быть еще кому-нибудь полезен. Я не должен туда ехать. И вы это знаете не хуже меня. Но вы — пастирь и вы щадите своих овец. Я теряю все со своим отъездом. И если бы не Егорушка, я бы остался здесь один, без сына и Веры. Единственная моя цель теперь — быть подле него. Он один у меня внук и слишком долго я его ждал. И смею надеяться, что я ему буду нужен там. Наверное, там очень много прекрасных светлых голов и честных сердец. Но нигде на свете нет таких несчастных людей, как в России. И нигде нет таких счастливых людей, как здесь. Я это понял за шесть месяцев моего прощания с Россией. Это, знаете ли, было продуманное прощание. Не знаю, смогу ли я написать о нем на чужбине, но я, твердо зная, что мы уедем, начал готовиться к отъезду в тот же день, когда сын мой, Георгий Васильевич, понес бумаги для отъезда. Господь по молитвам моим споспешествовал моему делу.

Я принялся за него без стариковской сентиментальности и слюнявого психологизма. И без суеты, как мне представляется. Я хотел проститься с тем, чем дышал семьдесят пять лет, найти то, что

потерял и узнать то, что по лености сначала, потом по презрению и привычке к презрению, не замечал. И я пустился медленно в путь. О, если бы вы знали, что я открыл для себя! То есть, может быть вы и знаете это, наверняка, знаете. Но я не знал. Я жил последние двадцать лет очень замкнуто и почти безнадежно. У каждого из нас — у сына и у Верочки — было свое занятие, и мы старались особенно не вникать в дела другого. Так было принято в нашем доме. Это я так установил после смерти моей жены. Она нас соединяла, а после ее ухода... Видите ли, я — человек старой закалки и уважаю чужую свободу. Любое ее проявление. Но были, были в моей жизни постыдные покушения на чужую свободу. Они, конечно же, ничем не увенчались.

Я говорю о безверии сына моего. Я не хотел бы считать его атеистом, ибо здесь я придерживаюсь крайних взглядов. О них, если будет мне позволено, если я не утомляю вас, я, может быть, еще скажу. Так вот я полагаю, что сын мой — не атеист, он тяжело болен очень распространенной в наше время болезнью — безверием, которое прикрывается так называемой верой в разум или в демократию, или в прогресс, на самом же деле является атрофией воли к спасению. При этом всем он — порядочнейший человек и обладает сильной волей, но воля к спасению это другая воля. Другая. Мой сын — прекрасный человек, он — рыцарь. Истинный рыцарь, смелейший человек. Я бы сказал, что мог бы его причислить к лучшим людям России нашего времени по силе сопротивления лжи и насилию над человеческой лично-

стью, если бы он не был поражен этой современной болезнью. Она ограничивает его дарования и заметно сковывает ум. Где-то я вычитал, кажется, у Вячеслава Иванова, что вера и безверие — не только различные мировоззрения, это — два разноприродных бытия. Пожалуй, это верно. Я встречал верующих людей, истинно стремящихся к спасению своей души и жаждущих спасения других, но пораженных страхом, который парализовал их чистые намерения и обрекал их на гражданскую пассивность. Георгий, сын мой, человек другого плана. Он не знает страха, вернее, он умеет успешно побеждать его, уничтожать в зародыше. И на это, как мне представляется, и уходят все силы его души. Кстати, это похоже, но только похоже, на религиозную особенность, присущую людям, твердо уверовавшим, что они под Богом ходят. Словно в нем сгорел страх однажды. Да, наверное, так оно и было, и я даже предполагаю, когда.

Это относится к его работе — он изобретал нечто, не один, а с другом своим, бывшим коллегой его. И они дошли до самого порога этого открытия. Дальше, видно, произошло что-то кошмарное. Это относится уже к области догадок. Он никогда мне об этом не говорил, а я, упаси Бог, не спрашивал. Там, на этом пороге, как я себе представляю, они встретили что-то такое, что, по-видимому, связано с возможностью насильственной гибели человека. А, может, я и преувеличиваю. Наверное, преувеличиваю, я склонен к этому. Словом, Георгий немедленно прекратил свои занятия с этим своим другом.

Они взяли отпуск и уехали на юг. На две недели.

Да, да... так оно и было. Они уехали. И вот... это было еще до рождения Егорушки... Ты помнишь, Верочка, каким он вернулся оттуда? Одни черные скулы и глаза потухшие, как у побитой собаки. А потом заболел. Он болел целый месяц, не велел звать к телефону и наотрез отказался разговаривать с тем своим коллегой. И не объяснял ничего. Только тогда он чего-то сильно боялся, боялся звонков в дверь и чужих людей. Болезнь его была странной, у него все болело: руки, ноги, ребра, спина, горло, голова, а все тело и лицо были покрыты какой-то синюшной сыпью. Врачи не знали, что с ним, а я знал. Он выбаливал из себя страх и рабство, природа его как-то перерождалась не без Божьей помощи. Один раз тот коллега его особенно был настойчив по телефону, и я почему-то запомнил, как сын мой выкрикнул тогда Верочке: "Скажи ему, что я умер! И ты закопала меня уже давно!" А она покорно повторила это по телефону, как попугай: "Он умер, и я закопала его давно". Только не помню, что тот-то ответил, а?

— Он, кажется, сказал что-то в этом духе: "Все вы там сбрендили. Могла бы и сообщить, я веночек ему прислал бы. Туда ему и дорога". — И повесил трубку, — Вера слегка улыбнулась.

— Да, да, "сбрендили", вот именно, теперь и я вспомнил. О, это было безумное время. Что было бы, если бы и он согласился продолжить работу! Страшно подумать только! Но к чему же это я все? Вот что значит старость, склероз, старческая болтов-

ня без конца и без краю, вы уж простите меня... (здесь в этом месте Василий Ипполитович так именно выразился. Я хочу поточней описать, чтобы ты хоть немного могла представить его себе, но вряд ли у меня получится...) Ах, вот зачем, чтобы вы, отец Сергей, и вы, Николай Георгиевич, поняли хоть немного, что за человек мой сын. Не атеист он, конечно, это повреждение ума такое, утрата, паралич какого-то зрительного центра, который всегда есть у детей и теряется у взрослых, если они, стараясь вжиться в этот мир, смотрят долго не в ту сторону... Он потом, конечно, ушел из лаборатории на преподавательскую работу, ездил с лекциями и после одной такой лекции не вернулся домой, просидел два с половиной года, так толком мы и не знаем, за что. Официально за нарушение общественного порядка. Напугать его решили, но он и после освобождения отказался наотрез.

Но на эту тему я не стану отвлекаться больше. Теперь уже два года он вообще не работает, частные уроки дает. Наверное, поэтому нас и выпускают, у него давно никакой секретности нет. И вот я составил свой план прощания. Я решил провести, так сказать, исследование на тему "Есть ли Россия, а если есть, то какая она сегодня?"

То, что мне открывалось, оказывалось для меня чудом. Я не верил чуду, считая его случайностью, абберрацией. Но постепенно я понял, что это все — реальность, как реален Бог... Я увидел Россию Христа. Не ту, что мнится называть себя Россией, не ту, прикрытую чужим, карнавальным тряпьем — о, сколь-

ко у нее может быть обличий! — а *сущность* ее, верой и страданиями очищающуюся, сущность нашей печальной земли, зернышко, из которого, я верю, вырастет в свое время дивный плод...

Нет тракторов, ямщиков, троек, экипажей, половых, саней. Нет экзотики, антуража, едят и пьют не то, что прежде, носят другую одежду, говорят, вроде бы, на другом языке, но это тоже только кажется, смыслы-то те же, молятся теми же словами и о том же самом, что и прежде. И мучаются теми же грехами и ждут и верят и главное, страдают и любят так же. Если не больше. Это я понял, когда ко мне стал возвращаться забытый было мною язык молитв...

Это и есть, если хотите, дух нации...

Василий Ипполитович снял очки и протер глаза и стекла очков. Глаза его оказались большими и как у ребенка ясными и беззащитными. Он посмотрел на нас и задержал свой взгляд на Егорушке. Тот смотрел на деда напряженно, боялся за него.

— Я утомил вас, простите меня Христа ради, но мне больше некому это рассказать. А там это никому и вовсе не нужно. Те, кто уезжают туда — я заметил — многие прошли через наш дом, не любят России, просто не знают ее, сердятся на нее, как на неверного человека и видят только карнавальное тряпье. Не понимают, что здесь — Голгофа. Над тобой все время ведет свой суд синедрион и неизвестно, когда исполнится его приговор...

Но я не сержусь на тех, кто ругают Россию, у них своя беда. Общая беда — атрофия воли к спасе-

нию заметным образом перестраивает не только ход мыслей и стиль поведения, но и организм. На Западе, как я понимаю, эта болезнь тоже весьма распространена. А у нас сейчас выработался новый вид человеческого себялюбия, жалостливый такой, выросший на социальном грунте.

Человек легко отдается соблазну сохранить себя во что бы то ни стало, ценой любых уступок насилию, любых компромиссов с собой — я говорю, конечно, об атеистическом сознании. Иллюзия, что он все время жертвует собой во имя каких-то целей, придает его себялюбию бесстыдство. Не трогайте меня, я и так несчастен, я не хочу ничего знать больше того, что мне навязывают. Возникает новый тип поведения в личных отношениях, в семье: свобода выбора заменяется свободой самосохранения, а вслед за этим дробится человек и он уже борется за свободу удовольствий. За эту свободу идет яростная борьба между самыми близкими. "Ты не трогай меня, мне и без того плохо!"

Борьба за свободу самосохранения стала национальным бедствием, ею заражаются даже писатели, покидающие добровольно Россию и обманывающие себя и других, уверяя, что их высылают. Жажда свободы самосохранения проснулась в нации с такой силой после того, как ее уничтожали самым зверским образом в течение полувека. Уничтожали и пугали уничтожением. Можем ли мы сегодня осуждать тех, кто не хочет гибели? Нет, конечно. "Я не нужен своей родине, она с легкостью предает своих детей", — говорим мы, покидая лобное место, бежим врас-

сыпную... А здесь каждый на счету сегодня...

Василий Ипполитович снова снял очки и протер стекла. Протирал тщательно, каждое стекло по нескольку раз.

— Помогите вам Бог, — отец Сергей благословил и поцеловал его.

Вот, Верочка, что я успел запомнить из его длинной речи. Когда я записывал и переписывал ее, мне иногда казалось, что ничего в ней нет для нас с тобой нового, но когда я слушал его, я очень волновался, радовался, что он так думает. Представь себе, он — глубокий старик, а голова у него абсолютно ясная, ум чистый и нет ничего старческого: "а вот раньше было", или "сейчас все не так"... и так далее. Что значит вера и неслучайно старческие отделения в психиатрических забиты в основном старыми большевиками. Безверие к старости непременно разрушает разум и ведет к старческим психозам...

Он был когда-то профессором права, ученым, потом стал заниматься писательством и написал какую-то книгу. "Записки безумца". Обещал мне оставить рукопись на память. На прощание он сказал, что скоро умрет на чужбине, но не может оставить сына и внука.

Мы договорились увидеться в ближайший же мой приезд в город.

Хотел бы я и тебя познакомить с ними.

А теперь прощаюсь с тобой.

Храни тебя Господь!

Твой Н.Г.



Хорошо, если письмо это прочтет Борис, муж Маши. Но для этого нужен случай, чтобы он не усмотрел ничего нарочитого и не обозлился. В спорах с Верой Дмитриевной — жива ли Россия, он слишком уж горячится.

— Тебе отрицание дается легче, — в последнем разговоре сказала она ему. — И ясно почему. Это свойственно людям, остерегающим свой уже организованный как-то мир, революции на этот мир действуют подобно вулканическим землетрясениям и разрушают его в прах. А для того, чтобы построить новый, нужны материалы, ты их не завез еще. Тебе не из чего строить.”

Она впервые так определенно намекнула ему на печальную ущербность его внутреннего существования и заметила, что он растерялся. Тогда она пожалела и хотела было исправить свою оплошность.

— Впрочем, — сказала она, — после революций и землетрясений как правило всюду не хватает стройматериалов. Поэтому, видимо, Бог уменьшил их количество по милосердию Своему”.

Но протянутая рука не была принята. В комнате повисло молчание. Вера Дмитриевна ожидающе посмотрела на лица Маши и Бориса и поняла, что допустила бестактность. В следующую секунду ее ощущение подтвердилось.

— Такие самодовольные и самоупоенные миры не боятся никаких землетрясений, — сказала Ма-

ша, а Борис вышел из комнаты. У дверей он сказал: — По-моему, маме пора дать покой. Она устала”.

”— Как плохо получилось, Я не хотела его обидеть”, — сказала Вера Дмитриевна.

”— А ты и не обидела. Его вообще обидеть нельзя. Он не обидчив, во-первых, а, во-вторых, нас с тобой за людей не считает. Вот если бы его новый шеф сказал то же, он бы, может, и прислушался. Об этом стоит поразмыслить, заметил бы он веско”.

”— Ну, зря ты утрируешь, Маняша. Боря — честнейший человек и прямодушный. Зачем ты хочешь приписать ему лакейство?”

”— Не о лакействе речь. Пиетет важен. Научный авторитет. Лидерство интеллектуальное, как они это называют, поняла? Ты и правда устала, мама. Я пойду, позови, если что”.

Разговор был не так давно и с тех пор они редко заходили к ней вдвоем. Что-то происходило с ними плохое.

Она еще раз перечитала конец письма Николая Георгиевича, чтобы отвлечься от мыслей о Маше. И задремала.

Сквозь тонкий занавес сна она услышала, как щелкнул замок входной двери и как тихо ее прикрыли. ”Кто так рано уходит?” — подумала она и услышала тут же приглушенный голос Бориса:

— Могла бы и вовсе не приходить. Ты просто элементарная сволочь! Я ни минуты больше не останусь здесь!

— Тихо, не устраивай сцен! Не зажигай свет. Я прошу тебя, не зажигай. Не надо!

Проскрипела дверь их комнаты. Слышно было, как ее плотно прикрыли. Сначала оттуда доносились возбужденные возгласы, даже послышался будто Машин плач, потом все затихло ненадолго. И тишина сменилась ровным монотонным гулом. Монотонным, как жужжание шмелей, бьющихся в оконное стекло.

Неужели он и в самом деле уйдет, не дождавшись моего конца?

Маша еще не знает вкуса и запаха одиночества. И ей кажется, что она хочет остаться без него. "Мне не нужен муж, как деталь, как мебель, потому что муж должен быть у всех, как должна быть своя кровать, своя зубная щетка и свой унитаз", — сказала она после очередного их скандала.

Скандалы их были тихими, они уничтожали свое единство, как шмели обламывают крылья и лапки, разбиваясь об оконные стекла.

Но у одиночества были свои запахи и звуки, Маша этого даже не представляла себе. Рассказать это было нельзя, это можно было только узнать. Большинство вещей, оказывается, вообще нельзя рассказать. Если бы люди узнавали это как можно раньше, не только перед тем, как умереть, они куда меньше говорили бы.

Об одиночестве Вера Дмитриевна знала по жизни своего отца.

Оно было самым заурядным и самым печальным на свете. Каждую среду и субботу он играл в

преферанс у себя дома. На полированном столе лежали когда-то аккуратно заточенные карандаши, позднее стали появляться уже шариковые ручки. И две колоды карт.

Вера Дмитриевна заканчивала мытье ванной и раковин и слышала, как, шаркая тапочками, приготовленными ею на этот случай, в комнату проходили партнеры отца.

Сначала ее удивляла одна странность: партнеры были всегда разные, хотя и похожи чем-то друг на друга. Вера Дмитриевна вряд ли отличила бы их, если бы отец не любил ее знакомить с ними.

У него была прекрасная память до самой смерти и предполагать, что он ошибся и дважды познакомил ее с одним и тем же человеком, было бы нелепостью. Скорее она могла ошибиться.

Преферансисты шумно отодвигали стулья и садились за стол, потирая руки. Этот жест почему-то присущ был им всем. Дальше сразу начинался ритуал обговаривания правил и Веру Дмитриевну уже никто не замечал.

”— Иди, детка, спасибо тебе большое. Созвонимся”.

Она уходила с облегчением. Значит, ему хорошо сейчас. Правда, назавтра он жаловался на бессоницу, головную боль, просил придти и измерить давление, поставить пиявки. Она стала думать, что отец тяжело ссорился со своими партнерами, не зря же они не приходили к нему вторично. Однако, к следующей среде или субботе все забывалось.

В остальные дни отец ходил на бульвар дышать

воздухом. Он берег свое здоровье и старался делать только то, что полезно, а малейшее нездоровье или неудобство считал катастрофой.

На бульваре такие же, как он, пенсионеры играли в домино. Но он не играл, презирая это низкое занятие. Преферанс — игра избранных, а домино — плебса.

Он отсиживал положенное время на скамейке, уставившись в одну точку. Так во всяком случае она несколько раз его заставляла.

Однажды лицо его увиделось ей особенно тусклым, дряблые углы губ сильно опустились, а щеки мелко подрагивали. О чем он думает?

— А, Верочка, это ты, а я как раз собирался тебе звонить. Я встретил недавно, как ты думаешь, кого? Своего бывшего зама по дому отдыха "Родина". Он теперь работает в шикарном ресторане и обещал к празднику подбросить кой-чего. Ты и для себя сможешь взять. Там стерлядка или форель, может, будет живая, крабы, вырезка. Напомни, чтобы я не забыл дать тебе его телефон. Он тебя помнит, спрашивал, где ты работаешь, сказал, пригодится. Может, пациента тебе подбросит, так ты не отказывайся, он человек нужный.

Но так не могло быть всякий раз, не может же он все время думать только об этом, — уговаривала себя Вера Дмитриевна. — Он нарочно думает о жизни, чтобы не думать о смерти. Стерлядка, вырезка... Не станет же он думать о гробе, могиле, венках.

Когда-то ее удивила одна бабка в селе, где они отдыхали с Машей. Много лет назад это было.

”Купи мне, Верочка, тюлю за любые деньги на похороны. В Москве, говорят, есть он”.

”Брось, тетка Марина, какие там похороны. Еще поживешь. Нас переживешь”.

”Это как Бог даст. А тюль нужен. И белье нашить новое надо...”

Одиночество отца было безысходным. Дом его постоянно был полон людьми. Партнеры по преферансу, коллеги — работники санаториев и домов отдыха, где он проработал большую часть своей жизни. И женщины. Почти до смерти — женщины. С тех самых пор, как умерла мать.

Она умерла давно, еще до войны, и смерти ее предшествовала какая-то трагедия, о которой Вере отец никогда не рассказывал, а она сама знать не хотела. Только однажды сказал: ”Мама твоя очень меня любила, но была слишком страстная натура, очень увлекалась. Хорошо, что ты пошла в меня...”

Вера Дмитриевна никогда не хотела знать о семейной драме родителей, боялась. Она догадывалась, что мать покинула отца и уехала в другой город. Уехала и бросила ее, Веру.

Вера тогда заканчивала школу и впервые была влюблена. Ей сказали, что мать в длительной командировке, она не поверила, но ей некогда было разуживать подробности. Вскоре пришло известие о ее гибели, мать утонула, катаясь на лодке.

Хоронили ее почему-то в чужом городе, и отец на похороны не поехал, у него был тяжелый сердечный приступ, а Вера поехала с дальней родственницей мамы.

Она смутно, будто это было во сне, помнит похороны, кладбище на голом месте, стылый ветер, небольшую группу чужих людей и закрытый гроб... И еще глухой шепот о том, что *его* нет на похоронах, потому что его посадили: шел тридцать четвертый год, в России нарастали аресты. А в Вере боролась обида с жалостью к матери: почему она бросила ее, почему она всегда ее бросала и любила свое больше, чем ее, Веру? Неужели они совсем были не нужны друг другу?

Наверное, я была не нужна, мешала, решила тогда Вера. С годами обида перешла в сожаление, но сожаление всегда было почему-то тупым и скоро проходящим.

Отец больше не женился, но никогда не бывал один, без женщины. Прежде он ездил с какой-либо из них на курорты по два раза в год, потом поселялся у кого-то из них и снова возвращался домой. А Вера привыкала к своей брошенности: матери у меня не было, теперь вот и отца скоро не будет.

Это сладостное чувство обиды легко поглощалось себялюбием: меня это не касается, у него своя жизнь и я ему не нужна, — уходила она все дальше от отца, как отстранилась когда-то от памяти матери. Даже услышав однажды, что она не утонула, а утопилась, Вера Дмитриевна заставила себя не поверить в это: "Не может этого быть, несчастный случай, неужели она могла намеренно бросить меня?!"

Отец принимал ее безучастие, как должное. Они не могли не только жить вместе, но даже долго разговаривать, словно объяснялись на разных язы-

ках, и очень уставали, подыскивая слова.

Вера Дмитриевна замечала, что не только не может, но ни за что на свете не хочет знать его язык. И даже понимать его. Будто это ей грозило какой-то страшной казнью.

Вообще казнь была неизбежной — это она знала и готовила себя к ней, чтобы не быть застигнутой врасплох. Уже в пятнадцать лет она знала, что всем предстоит казнь.

Понимала она также, что казнь это — не крест. Крест доброволен, а потому он — не наказание. Родство корней этих слов в языке, на котором она думала, было несомненным.

Она хотела выбрать легкую казнь, то есть быструю. Она панически боялась медленной, длинной казни. И связывала этот выбор с выбором языка. Скорее, с принадлежностью к смыслам, которые он всего лишь выражает. Связь эта была трудно объяснима. Во всяком случае, сколько бы ни пыталась она говорить об этом, понимали ее плохо, только Николай Георгиевич принял это с полуслова.

Она знала, почему трудно понять. Повинна была инерция мысли, привычка отделять мысль от языка, от слова.

Уже на первом курсе, увлекшись психиатрией, она поняла, что мысль и слово едины. Потом уже тысячи раз на своем горестном опыте и опыте своих больных она находила подтверждение этой догадке.

У отца был, как ей казалось, язык невнятный другому, в нем не было общих и объединяющих всех смыслов и значений. Это был язык, на котором



говорил и существовал, как казалось Вере Дмитриевне, он один. Редко замечала она, что отец хотел научить своему языку другого. Это было ему не нужно, он был убежден, что не понять его нельзя. Несколько общепринятых запретов, знаков и жестов вполне хватало ему, чтобы объясниться. Они относились к выражению утробных состояний — голода, холода, болезней, удовольствия от смешного спектакля, анекдота, любовной истории, записанной почти на таком же языке, на котором жил отец. И, конечно же, страха.

Иногда ей казалось, что достаточно одного взгляда, чтобы понять, чего он хочет.

Но она заблуждалась. О, как она заблуждалась! Теперь она знала, что была чрезвычайно ленива и высокомерна, не желая научить его своему языку и освоить его язык.

Такие попытки, правда, бывали, но кончались они всегда безуспешно из-за ее нетерпения. И через пятнадцать минут она с облегчением затворяла его дверь.

Только когда она увидела его лицо в море, она поняла, что он скрывал свой подлинный язык от нее, видно, боялся, что она не захочет понять его. А то, что он выдавал за слова, были не слова, а шелуха, грязные капустные листья, которые выбрасывают вон. О том, что было внутри, она только могла догадываться.

Запахи и звуки его одиночества были непохожи ни на чьи другие.

Она видела комнату, обшитую ватой, постарев-

шей от грязи. Такой бывает вата, когда ее вынимают из окон после зимы, с грязными волокнами.

Волокна висели на стенах почти до пола. И потолок был укрыт грязно-белой ватой. И пол, и потолок, и полированный стол посреди комнаты. Все, все гнездышко отца было законопачено, чтобы из него не донесся ни один звук.

А он стоял у окна, забитого сплошь ватой, — и внутри, и снаружи — и кричал. Кричал на ее языке, но слова никуда не добирались, они умирали в грязно-белой вате.

Кто же принес ему столько ваты, ведь я, кажется, не покупала, подумала Вера Дмитриевна тогда в морге, глядя в его спокойное и чужое лицо.

Душа уже покинула его и это был футляр, обложка, на которой отпечатались, как на негативе, контуры последней мысли. И эти контуры показались Вере Дмитриевне незнакомыми, они обозначали такое удивление, которого она никогда не видела на лице отца.

Его лицо, живое и мертвое, как и лицо матери, ни разу не снились ей и она, наверное, забыла бы их, если бы не молилась о них. Сердце ее всегда во время молитвы видело тех, о ком она молилась. Это был даже не зрительный образ, а всплеск, мгновенный всплеск луча.

Луч отца ничем не напоминал то чужое, увиденное в морге, лицо и все же она не забыла его.

... Неужели Борис все-таки уйдет? Зайдет ли он попрощаться? А если зайдет, что она ему скажет? Побудь еще, Боря, мне немного осталось.

Жужжание шмелей стало чуть глуше и наконец вовсе утихло. Дверь Машиной комнаты отворилась и сердце Веры Дмитриевны дрогнуло: "сейчас уйдет!"

Она прислушалась и поняла, что Маша пошла в ванную.

Почему она моется среди ночи? Плакала или голова болит?

Что-то случилось. Должно же было что-то случиться с ней. На ней это было написано.

— Маша! — позвала она как можно громче, услышав, что в ванной перестала литься вода. И вскоре услышала ее шаги.

— Ты не спишь? Тебя разбудили, мама? Прости.

— Что случилось?

— Почему *что-то* должно случиться? Все в порядке. Спи, пожалуйста.

— Посмотри на свое лицо. Зажги-ка свет.

— Свет не нужен. Ты и так видишь мое лицо. Я переволновалась и устала.

— Принеси воды.

— Сейчас, конечно, — она заторопилась, вернулась к кровати за чашкой и пошла на кухню. Дверь она не затворила и Вера Дмитриевна увидела Бориса. Он стоял посреди коридора, потупившись, чуть расставив ноги, будто его сбили с ног, и он только что поднялся, стоять стоит, но ходить еще боится.

Вошла Маша и прикрыла дверь.

— Вот и вода. Надо спать, а ты не спишь почему-то. Я виновата, тебя разбудили. Не хотела зво-

нить поздно, чтобы не испугать тебя звонком и потому не предупредила, что задержусь.

— Я не хочу этого слышать. У меня болят уши. Скажи Боре, что я прошу его остаться. Спокойной ночи.

Она сказала это с закрытыми глазами, не хотела смотреть на Машу.

”У меня болят уши”, — эта фраза с самого Машиного детства означала запрет на ложь. Когда-то у Маши болели уши и она очень мучалась, потом Вера Дмитриевна напомнила ей об этой боли, когда Маша впервые солгала.

О, как давно Вера Дмитриевна не говорила этих слов! Отчего же она вдруг вспомнила эту некогда строгую, а потом полушутливую игровую фразу, сказанную теперь с такой категоричностью, словно у нее и в самом деле отваливались от боли уши?

У меня болят уши от лжи, их ломит, как ломают кости перед дождем и это не такая боль, как сейчас поднимается внутри, а другая и неизвестно какая из них пересилит... У меня ломит уши от ее лжи. Я ведь хорошо знаю, что она обманывает Бориса и встречается с его другом — Колей. Она думает, что таким образом спасает Колю. А Борис, наверняка, знает об их тайных встречах, но не хочет верить в то, что это — конец. Коля был до самого последнего времени любимым его другом. Борис постоянно восхищался его одаренностью и страдал из-за его пьянства. Коля пил запоями после любого огорчения. А Борис спорил с теми, кто считал это распущенностью. ”Он — слишком тонкая система, — го-

ворил он о Коле, — чтобы оставаться в равновесии. Это болезнь, возникающая от резкого неприятия лжи”. Если Борис прав, значит, этот роман окончательно его разрушит.

Как странно, что теперь все чаще случаются такие истории, когда любовные связи возникают среди друзей и знакомых. Люди бегутся новых знакомств и ищут себе любовь, где поближе. А привычка к лжи делает нормальными такие связи. Как привычка к климату...

Пора принять лекарство, на сей раз ей самой не справиться с приступом. Если бы не ломило так уши, можно было бы, пожалуй, дотерпеть до утра, а там кто-нибудь пришел бы к ней и она отвлеклась бы от боли...

Наверное, если бы она на опросе у психиатра сказала, что у нее ломит уши от лжи, он бы квалифицировал эту ложную боль, как какую-нибудь из ”маний”. И в самом деле, какие только речи не приходится слышать, разговаривая с больными! ”У меня, доктор, вступило в поясницу”, — было самым безобидным. А вот один юноша рассказывал ей подробно, что когда засыпает, слышит, как из его сознания уходит ”информация в космос”.

— Я слышу, как шумят невидимые антенны надо мной и меня пронзает вибрирующий резкий звук как раз в ту минуту, когда я засыпаю. Значит, я отдал свою информацию. Но это бывает не каждую ночь, а только в те дни, когда мне есть, что передать туда, когда есть информация, которая не должна погибнуть.

Володя говорил "туда" и смотрел вверх, захватывая руками пространство. А однажды он сказал: "Когда Бог принимает мою информацию, я тут же засыпаю".

Слушая его рассказ о том, как шумят над ним антенны, она вспомнила тетку Марину. Та тоже слышала, однажды засыпая, шум крыльев улетающего ангела. Как похожи были их рассказы! И тот, и другая были убеждены, что им не верят, считают за безумных.

Вера Дмитриевна верила Володе, но все время улыбалась, слушая его. Улыбалась, потому что вспомнила тетку Марину. А он снова и снова объяснял ей одно и то же, хотел поточнее рассказать.

Он проходил экспертизу перед призывом в армию и его родители уверяли ее, что он не совсем нормальный и для армии не пригоден.

Они и раскрыли его ночные переживания, и Володя с охотой стал рассказывать о них. Рассказывал он еще о своих снах, которые всегда были вещими.

Володя был последним ее больным в той больнице. Вера Дмитриевна поставила ему диагноз, освобождающий от армии, а ему и родителям сказала, что он — здоров.

Отец Володи, заподозрив в этом провокацию — он был военным в отставке — пожаловался на нее и потребовал консилиума. Мальчику поставили диагноз "вялотекущая шизофрения" и оставили лечить.

Скандал, который разразился в больнице, дол-

го был достоянием психиатрических кругов и случай с Володей даже был описан в научном докладе одного видного профессора, страстного поклонника теории о повальном распространении шизофрении среди советских людей.

Из-за скандала Вера Дмитриевна не смогла навещать Володю. Только один раз, уже уволившись на пенсию, она пришла к нему и сказала:

— Учти, что ты здоров и отнесись к тому, что произошло, мужественно. Только мужество и сила духа, то есть та, как ты это называешь, информация, которую ты должен будешь отдать в атмосферу, и способна спасти тебя. И постарайся никому больше не рассказывать о том, что чувствуешь. Вот тебе мой адрес. Когда выпишешься, приходи.

Он лежал бледный и напуганный, напряженно прислушиваясь к себе и, повидимому, не слыша ее. Лишь один раз улыбнулся, в самом начале, когда увидел ее, но тут же погасил улыбку, вспомнив, видно, что-то неприятное, что было связано с ней. Вяло протянул руку и спрятал под одеяло.

Она сразу поняла, чем его глушили и что теперь ей не пробиться к нему.

Как ругала она себя по дороге обратно, спотыкаясь о камни больничного двора! Лицо ее, видимо, выражало такое отчаяние, что санитары, несшие кастрюлю с едой, как по команде опустили головы. Решили, наверное, что она плачет, расставаясь с больницей, где проработала двадцать лет.

С тех пор Володя часто снился ей.

Снился он всегда одинаково. Они идут с ним

по больничному двору. Она в халате, он в больничной пижаме. Они куда-то спешат, она поняла вскоре — куда, им надо прорваться через проходную.

— Я отдам тебе свой халат, ты надень и иди как ни в чем ни бывало, а я как-нибудь пройду”, — говорит она ему.

А он молчит и улыбается так же, как тогда, в последнее их свидание. А потом поворачивается и уходит.

— Володя! На!” — кричит она и снимает халат, но он не оборачивается.

Она бежит за ним и не может догнать. Кричать она тоже не может — у нее пропал голос.

Опять эта мука немоты! И вот теперь, уже засыпая, она предчувствует немоту. Господи, не надо снов! — последнее, что удастся ей сказать.

И снова больничный двор, солнце и снег, все белым-бело и среди белизны темные фигуры. Они идут беспорядочным строем. Это больные, их вывели на прогулку и они одеты в какие-то лохмотья.

А она сидит на скамейке в белом халате, рядом с Матвеем. Он пришел к ней повидаться, потому что она тоже, кажется, больна, у нее ломит уши, в ушах вата и ее не выпускают из больницы.

Матвей говорит, но она ничего не слышит, только догадывается, что он говорит. ”Бедная, моя бедная, теперь я знаю, какая ты, ты слабенькая и такая маленькая, как маленькая девочка, будто ты — доченька моя!” — шепчут его губы.

— Я ничего не слышу, у меня ломит уши”, — хочет сказать она, но опять пропал голос и она еле-еле шевелит губами.



Матвей наклоняется к ней и она видит его глаза за очками. Они полны слез, он снимает очки и прижимается к ее глазам и щекам, а она чувствует, какие у него теплые слезы.

— Почему ты плачешь? — спрашивает она.

— От жалости к тебе, — шепчут его губы.

— Но ты не умеешь жалеть, — хочет сказать она, но немота сковала ее окончательно.

К ним приближается темная толпа. Зачем они идут сюда, им не положено переходить черту, ту за сквериком дорожку, но они идут.

Матвей надевает очки и смотрит на нее печальным взглядом, в последний раз целует ее, прижавшись мокрой щекой, и вот его уже нет. А рядом с ней темная толпа больных, и от нее отделяется один. О, она помнит его! Это — убийца, палач, он расстреливал людей, и теперь они приходят к нему. Он днем и ночью кричит. Но почему ему разрешили прогулку?

— Сейчас же идите в палату! Слышите! — хочет крикнуть она и поднимается ему навстречу.

И видит, что он похож на того палача, который стоял у прожектора. Где и когда это было — хочет она припомнить.

Надо уходить отсюда, он раздражен чем-то, надо вызвать санитаров скорее. А он смотрит на нее и кричит:

— Ты совсем не жалеешь меня! Я устал убивать! Пожалей меня, слышишь?

Она почти не слышит и только догадывается о его словах. У нее забиты уши, но она поняла уже,

что надо вынуть вату из ушей. Вата темно-серая, грязная. Она бросает ее наземь и палач вздрагивает и пятится назад.

— Пожалей меня! Я устал убивать! — опять кричит он и теперь Вера Дмитриевна слышит его крик.

Она просыпается от этого крика и проводит рукой по лицу — щеки мокрые от слез. Наверное, это слезы Матвея, думает она и опять засыпает.

#### 4

— Просыпайся, тетя Верочка! Уже день на дворе.

Вера Дмитриевна на грани сна и яви и не понимает, почему слышит Зинин голос.

— Ну, проснись, проснись, — Зина прикасается к ее лбу и щекам.

— Ты, Зайченysh? Почему не на работе?

— Сегодня суббота. Давай умыться.

— А Борис где?

— Дома. Спит еще, в тебя пошел.

— А Маша?

— Сколько вопросов сразу. Ушла.

— Куда? Сегодня же суббота.

— Придет скоро.

— А Настю ты привезла? Почему тебя вчера дома не было?

— Настю привезла вчера вечером, но ты весь вечер спала, мы заглядывали к тебе.

— А что она?

— Лежит еще. Ты ее полечишь? У тебя есть силы?

— Найдутся. Я, пожалуй, встану, пока боли нет. Пойду умоюсь. Боюсь залеживаться, хуже станет.

— Умойся здесь, а встанешь потом. Я все принесу.

Вера Дмитриевна приподнимается и потихоньку встает. Боль еще не проснулась, и можно пойти в ванную. Она осторожно идет по коридору, ноги слабые, а в голове плывет марево, хочется за стенки взяться. Надо ходить до последнего, хоть ползком. Она останавливается у кухни и слышит Зинин шепот:

— Там Дима пришел прощаться. Он уезжает.

Подумаешь, прощаться спозаранку, — сердится Вера Дмитриевна, но не говорит ни слова и идет в ванную.

Она садится на край ванны, отдыхает и смотрит в окно. Небо синее и воздух за окном подсиненный и чуть-чуть подрагивает. Отчего он такой зыбкий? Она чувствует, что за дверью стоит Зина. И будет стоять до тех пор, пока Вера Дмитриевна не помоется, будет прислушиваться. Так завела Зина, она боится за Веру Дмитриевну и теперь так же делают Маша и Борис, если Зины нет дома.

Зина — дочь ее покойной подруги, перебралась к ним, как только Вера Дмитриевна слегла. Настю — свою дочь — она перевезла к старой тетке за город. Теперь и Настя запросилась сюда.

Надо мыться, но не хочется отрываться от ок-

на. В верхней незанавешенной части окна всегда видны верхушки деревьев и сквозь зеленую вязь пробивается небо.

Синий воздух вздрагивает, оказывается, всюду, не только если смотреть на него через стекло, но и через открытую форточку тоже.

Зачем я сержусь на этого несчастного Диму? Может, они и в самом деле нужны друг другу? Он — очень некрасивый и маленького роста, голос у него тихий, робкий. "Какой-то он жалкий", — сказала Маша, как только увидела его впервые, а Вера Дмитриевна рассердилась на нее. Так сказал бы Матвей, да и сама Вера Дмитриевна раньше обязательно бы заметила, что он жалкий. Теперь же их дом в основном и наполняют вот такие жалкие люди, как Дима. Плохо одетые, полуголодные. В общем, странные люди. Неудачниками называл таких Матвей, "выброшенными за борт".

Выброшенные за борт мира сего, они плохо приспособливаются к нему. Вот и Дима — серьезный ученый-биолог, а стал заниматься пчеловодством и ездит с лекциями о пчелах. Зина говорит, что в их науке о пчелах таких специалистов, как Дима, нет.

Я совсем напрасно боюсь за нее. Это оттого, что больше всех ее и Настю люблю.

Вера Дмитриевна моется, потом снова отдыхает, вбирая в себя как можно глубже движущийся к ней подсиненный воздух, и когда перестают дрожать колени, встает и идет на кухню.

— Ты уже здесь, Зайченыш? Здравствуйте, Дима. Куда вы едете? Сидите, сидите, я сейчас к себе пойду.

— На Урал. Что вам привезти? Любите кедровые орехи?

— Я всякие орехи люблю, вернее, любила, а сейчас не знаю. Когда вы вернетесь?

— Скоро, очень скоро. Через три дня, не позднее.

Он целует протянутую руку, еле прикасаясь губами, потом прикладывается к руке щекой, словно прощается навечно.

— Поезжайте с Богом! И не волнуйтесь. Все обойдется.

Она идет к себе и коридор оказывается темным и глухим, хотя в нем горит свет. И длинным. Ноги подкашиваются, а в голове опять марево... Ходить уже совсем трудно, резко нарушается кровообращение. Все необратимо разладилось и долгое лежание ничего не исправляет, а наоборот.

— Знаешь, Зайченysh, я стала худо ходить, но ты не огорчайся. У тебя такое встревоженное лицо. Это потому, что я ночь плохо провела. Что-то случилось у Маши с Борисом, и я, кажется, поволновалась. А мой организм теперь плохо относится к волнениям, почему-то их не вмещает, и это мне совсем, совсем не нравится.

— Попей чаю, тетя Верочка.

— А ты посиди пока. Дима не обидится? Ты поедешь провожать его?

Поеду и сразу же вернусь. У нас еще есть время.

Зина сидит на краешке кровати и зябко подергивает плечами.

— Тебе холодно? Может, ты заболела?

— И я тоже почти не спала. И все слышала так же, как и ты. И Настя тоже проснулась, когда пришла Маша. Тебе надо рассказать все... Маша просила меня. Сегодня ночью Костя Звягинцев хотел покончить с собой. И выбросился с балкона. Он пока жив...

— Где это было? Он был пьян?

— Не больше, чем обычно. Они были у кого-то в гостях.

— Одни?

— Нет, в гостях. Свидетели есть.

— Свидетели? Что, Машу уже вызывали?

— Да, к следователю. И там будет его мать и жена.

— Да?.. Как Маша?

— Ночью она долго плакала. К утру успокоилась, выплакалась. Она себя винит. Сказала: "Это мне возмездие". И еще она тебя боится. Говорит, "мама не поймет этого".

— А Борис?

— Ему, видно, совсем плохо. Бледный, молчит, дрожит весь. Машу пытался утешать, но сам он нуждается в утешении больше. Хотел с ней к следователю пойти, но она наотрез отказалась. Не испугалась ни его жены, ни матери. Ты знаешь, она сильная, когда надо... Коля убился из-за того, что она отказалась уйти от Бориса к нему. Так Маша мне сказала.

— Вы звонили в больницу? Как он?

— Недавно узнавали. Без сознания. Переломан позвоночник и тяжелый перелом черепа.

— Умрет. Она сказала, что это возмездие?

— Да. Она себя винит, что не могла его удержать, хотя там были еще люди. Они заговорились, а он стоял на балконе. Потом позвали его, а его нет...

— Сейчас много самоубийств стало. И чаще всего из окна выбрасываются. Домов высоких понастроили... Какой этаж?

— Шестой. Он упал на крышу магазина.

— Я не задерживаю тебя? Иди. Я отдохнуть буду. — Вера Дмитриевна закрыла глаза.

— Отдыхай, я посижу. У меня есть еще немного времени.

В глазах у Зины Вера Дмитриевна увидела недоверие и испуг. Наверное, ее испугало спокойствие Веры Дмитриевны и она догадалась, что это — не поддержка и не усталость, а просто невозможность существовать в этой истории, полная невозможность дышать там, кричать от горя, ужасаться и спешить на помощь.

Вот все и молчит во мне, — отметила Вера Дмитриевна. Колокола затаились и ждут. Они не могут звонить, если они не нужны, а если думать о Коле, Маше и Борисе, значит, колокола не нужны.

Смерть — это всегда бегство и всегда добровольное поражение, отступление перед этим миром, даже если уходят не так, как Коля, а тихо отступают в сторону, уходят в тень с глаз долой, смиренно без долгих сборов. Уже с прошлой ночи она ушла, убежала на длинное расстояние, пробежала сквозь те свои бездны в последний раз. Теперь они никому не нужны, зачем-то столько лет на них ушло.

Бегство в смерть — это последний эгоизм, но иного качества, эгоизм не тела, не утробы, а души, собравшейся в дорогу. Здешние места становятся не твоими, хотя они не менее любимы. Только любовь эта иная, не жадная, а тихая. Она последняя и не для себя теперь, а для кого-то, кого жалко покидать.

Земля становится маленькой и жалкой сиротой, и если смотреть на нее издалека, то видно, как дрожат на ветру осиновые листья, кричат птицы перед дождем и стонут во сне дети. Они всегда стонут по ночам, а днем редко.

Днем кричат птицы в лесу, чайки на море и солнечные лучи колеблют воздух. Он плывет сквозь комья тополиного пуха и они переливаются и сверкают, как снежные звезды. А пух от одуванчиков похож на снег и его снежинки одиноки, не так, как у тополя, где они сплетаются в большие комья.

Когда солнце собирается уйти каждый раз неизвестно куда, то на смену ему приходит другой свет, не вечерний, сиренево-пепельный. Он виснет на ветках и крышах домов, этот пепельный свет, и тополиный пух становится серо-фиолетовым. Земля темнеет и из сиреневой делается сначала таинственно-фиолетовой, а потом уже черной. И тогда все уходит спать, чтобы не видеть черноты, а дети кричат во сне.

Вера Дмитриевна пугается, когда Маша кричит и вскакивает к ней. А она потом не помнит своих снов.

Страшные сны видятся на земле, погруженной в темноту и совсем редко снятся сны благие. Анге-



лы, например, или Божья Матерь с крестом. Крест снится редко, оттого, что все боятся креста.

И она до сих пор боится. Но ведь только через него и бывает жизнь, а без него — смерть. Коля погиб из-за того, что боялся креста.

Если и снится на земле благое, то в виде нежности и мягкости. Вот как Матвей ей приснился, будто жалел ее.

Земля стала жесткая, ссохлась и дожди не могут увлажнить ее. Они быстро впитываются, а назавтра снова обнажаются трещины.

— Ты иди, иди, Зайченыш, со мной все нормально. А останется у тебя время, съезди к Николаю Георгиевичу. Надо, чтобы он знал, и отец Сергей тоже. А мне Настю позови, если она встала.

## 5

У Насти глаза похожи и не похожи на Зинины. Вера Дмитриевна думала, что такие светлые и прозрачные глаза бывают у диких пугливых птиц. Она птиц таких не видела, но знала, что они есть и что глаза их вбирают зелень леса и синеву небес.

Когда Настя родилась, ее глаза уже тогда страдали. Или это теперь так помнится Вере Дмитриевне из-за того, что приключилось потом с Зиной и Настей.

Гибель Зининой матери от газового взрыва, а через полгода болезнь трехлетней Насти навсегда остались внезапно пробуждающимся страхом в их глазах.

Зинины глаза страх делал еще прозрачней и слезы вымывали их густоту от разу к разу, а у Наси от страха серый цвет гуще и глубже становился.

Вера Дмитриевна никого так не жалела оставлять, как Настю и Зину. С Машей у нее все было не просто, она то боролась с ней, как с самой собой, то гордилась ею, то соперничала. Маша не желала с ней соединяться и отрывалась от нее с радостью освобожденности.

Вера Дмитриевна боялась их сходства, особенно когда видела, как прижимает Машу к земле утробная сила, с которой Вера Дмитриевна соперничала особенно мучительно.

А Зина совсем не знала, вроде бы, такой силы, она была ровная и тихая, и в страхах своих простая. Как трава гнулась от холода и снега и легко выпрямлялась, вытягиваясь к солнцу. Она приникала к Вере Дмитриевне с надеждой получить у нее опору, но близость их была почти безмолвной. С Настей же все шло иначе — Вера Дмитриевна и Настя любили разговаривать, рассказывать о своих чувствах и настроениях и учить друг друга. Разговоры их были странными, так думала вначале Вера Дмитриевна, когда ей приходило в голову, что кто-то может вдруг услышать, о чем и как они говорят.

Самые лучшие минуты бывали тогда, когда они встречались вчетвером, когда Вера Дмитриевна с Зиной и Настей ездила к Николаю Георгиевичу. Их единство было связано с одним общим свойством — все они умели останавливаться. Этому никто из них не учился, просто они однажды почувствовали, что умеют это.

Останавливаясь, они будто оказывались посреди вечнозеленого сада. И время там тоже не двигалось. Так не движется время в Церкви, потому что там его нет, оно остается за стенами храма.

Останавливаясь, они словно бы уходили вглубь, туда, где корни всего. Оттого и время им было не нужно. А когда оно не нужно, оно останавливает свой бег. Ведь оно бежит по поверхности земли и не в силах затронуть корни.

— Я знаю, у тебя сейчас все болит. И у меня тоже заболело внутри, — Настя сидит в ногах у Веры Дмитриевны и смотрит в окно.

Вера Дмитриевна видит, что Настя избегает смотреть на нее.

— Ты выдумываешь. У меня совсем немного болит, гораздо меньше, чем ночью. А у тебя вообще все в порядке. Я приму сейчас лекарство и может быть усну, а ты что будешь делать?

— А я буду молиться Иисусу Христу, чтобы ты не умерла. И чтоб тот мальчик, который сегодня ночью разбился, был жив. Он думал, что у него есть крылья, и решил улететь.

— Это кто тебе сказал? Мама?

— Нет, я сама знаю.

— Откуда ты знаешь? Не выдумывай, пожалуйста.

— Не знаю. Бог знает. Этот мальчик скоро умрет и душа его улетит. И он станет невидимым. Люди не умирают, они становятся невидимыми лучами, очень тихими, тихо появляются и так же тихо улетают. Мы пойдем за него молиться в церковь? И

тогда душа его будет петь в хоре "вечную память".

Настя три раза спела вечную память. Слух у нее был прекрасный, а голос тонкий и трогательный.

С тех пор, как она переболела, ее развитие пошло по иному пути, чем полагалось. Уже в семь лет стало ясно, что она не приспособится к этому миру, что она не только корнями вплелась в тот, другой, побывав на границе этих двух миров, но и сердцем почти постоянно существует в том, ином мире. Ее считали блаженной, юродивой, странной. Она и в самом деле была блаженной по чистоте помыслов и действий. И в свои пятнадцать лет была мудрее самого древнего старика и чище трехлетнего ребенка. Люди, чаще всего, стыдились и избегали ее, то заискивали с ней, то раздражались. Неужели ее нельзя вылечить, мама? — в отчаянии спрашивала Маша, — что с ней? Почему она так не по-детски серьезна?

Серьезность Насти угнетала больше всего, когда она была ребенком. Все попытки поиграть или рассмешить ее были пустым делом.

Настя вяло играла, чаще всего в кубики, а больше всего любила думать вслух и задавать вопросы, на которые не было ответов — почему на свете все растет, кроме Бога, откуда берется ветер и куда он уходит?..

Лечить ее было бесполезно, это было не болезнью, а существованием в другом измерении. Но объяснить это людям из этого измерения и не предполагавшим о том, что есть другое, было невозможно.

Настя не стыдилась никого и ни на кого не обижалась, она боялась за людей. Откуда взялась в ней эта жалость и боязнь, кто питал источники этих почти забытых людьми чувств, понять было нельзя.

— Ты не сердись на Машу.

— Откуда ты взяла, что я сержусь? Я волнуюсь за нее и Боря.

Настя строго посмотрела на Веру Дмитриевну.

— Нет, ты сердишься. Ты хочешь, чтобы она была, как ты. Но она не может. Она жить хочет, а ты о смерти все время думаешь. Надо просить Иисуса Христа и Его Маму, чтобы она и Боря еще долго жили. Когда люди живут, они постепенно выздоравливают, а когда уже не могут выздороветь — умирают. Бог забирает тех, кто не может выздороветь.

— Ты думаешь, Маша больна?

— Конечно. Все люди больные. У них страх болит. У Маши страхи сильные. Сильней, чем у меня. Она боится, а когда страхи, тогда болит все. Боль это, понимаешь, страх тела. Страх умереть. Не успеть родиться для главной жизни.

— А у тебя сейчас тоже страхи? Мама сказала, что ты нехорошо себя чувствуешь? И просила тебя полечить.

— У меня страхи начались опять. Все время боюсь... И не могу отвлекаться, как ты учила...

— Чего боишься?

— За тебя. За Машу и за этого мальчика. Мне приснился сон, что ты умерла и не простила Машу, а она очень горюет и зовет тебя. А ты тоже очень горюешь и мне тебя так жалко, так жалко, что я про-

шу Иисуса Христа взять меня на небо, чтобы быть с тобой. А Он говорит: как же ты оставишь маму? И я чуть с ума не сошла от горя. Ой, как трудно разрываться между небом и землей... Тогда я и попросила бабушку позвонить маме, чтобы она забрала меня к тебе. Теперь я уже спокойна и ты не волнуйся. Пусть они делают свои дела и Маша, и Боря, и Дима. Дима маму очень любит, а мама не хочет из-за меня жениться. Меня не хочет обижать, а я не обижусь. Он — хороший человек и маму будет жалеть. Ты думаешь, он некрасивый и Маше он не нравится, а я думаю, что это не так, он — красивый, очень даже, и добрый. Как Николай Георгиевич. Я люблю Николая Георгиевича, я бы только за него замуж пошла. Он сказал, что когда я еще подрасту и музыке лучше научусь, он возьмет меня петь в церковь. Только денег я получать за это не буду. Маме деньги не нужны, она много получает, правда же? Николай Георгиевич сказал, что жениться маме с Димой не грех. Грех — зло, а Дима не хочет маме зла. А мама тем более, ты же знаешь, какая мама. Мамочка моя, как святая. А ты давно знаешь Николая Георгиевича?

— Очень давно, мы учились вместе. Потом целую вечность не виделись, а встретились в церкви, когда он уже там работал сторожем.

— А он... у него тоже была жена?

— Была. Муся. Они разошлись давно.

— Красивая?

— Красивая, кажется. Я ее только один раз видела на выпускном вечере.

— Каком? Выпускном? Что это такое? Какое непохожее слово...

— Вечер после окончания института.

— А... Он и сейчас работает врачом? Правда? Не только в церкви. Он мне травку дал опять пить.

— Он и сейчас лечит. А у тебя еще есть его травка?

— Есть, я ее берегу.

— Ну и глупенькая, кто это лекарство бережет? Он тебе еще даст, когда кончится. Ты пей эту неделю два раза, днем после обеда и вечером перед сном. Обещаешь?

— Конечно, ты только не волнуйся. И не бойся за меня. Ты сейчас поспи. А я пойду на кухню, вязать буду. Да?

— Хорошо. Попробую поспать. Дай только на прощание тебя поцелую. Теперь иди.

Зина не права, это — обычное Настино состояние: навязчивые мысли о ком-то и страхи, что кому-то из нас будет плохо. Сейчас она, правда, слишком возбуждена и быстро устает от этого. Сама решила уйти, вязание ее успокаивает.

Странно, что о Коле она почти не говорит. Правда, она всего один раз его видела и, наверное, заметила, что ему было с ней не по себе. Она все замечает, все помнит и сама сторонится тех, которым с ней плохо, не хочет обременять.

Это было примерно около года назад. Настя жила у них, Зина была в командировке. Тогда, наверное, только и начиналось у Маши с Колей. Он каждый день приходил.

В тот вечер у них с Борисом завязался спор, один из тех неразрешимых споров, которые мучают философов без мировоззрения. Отсутствие четкой картины мира обнаруживает зияющие пустоты в их несложившихся системах, они сегодня залатывают одни дыры, а назавтра вылезают другие.

Раньше Вера Дмитриевна не замечала эту роковую опасность ущербности безбожного сознания, ведущего к полной слепоте.

Ей виделась иная опасность в безверии — неизбежность нравственного крушения. Она тогда не думала, что безверие — плотная завеса, которая скрывает мир.

Но вот в один, ничем не приметный день ей открылась незнакомая реальность. Она ее предчувствовала, но раньше не видела, а теперь не только увидела, но оказалась глубоко погруженной в нее.

Мир был залит Светом, покоился на нем, мощные и упругие потоки его держали землю на себе и в себе. Свет обнимал все и всех. Рядом с Верой Дмитриевной толпились люди, много людей, был "час пик", а она стояла на автобусной остановке.

И вот она оказалась неожиданно в стране слепых. Вслед за этим знанием она поняла, что не хочет ничем отличаться от жителей этой страны. Но и в то же время она не хочет быть слепой, как они. Неужели они не знают этого, — кричала в ней горестная жалость, — неужели они не знают, что слепы? Я не хочу этого, я хочу, чтобы и они видели!

Вскоре это ощущение покинуло ее и она тоже



погрузилась в обычные потемки слепоты. Зрение возвращалось в редкие благодатные минуты.

Но когда Вера Дмитриевна слушала споры Бориса и его гостей, она, конечно же, жила в стране слепых и сама становилась слепой. Иначе бы она не могла их услышать.

Борис приводил из своего института, как он говорил, "мозговую элиту". Знатоки йоги, дзен-буддизма, экзистенциализма и всех новейших течений в философской мысли часами упивались своими речами.

Вера Дмитриевна слушала их первое время с удовольствием, хотя почти ничего не понимала. Это был не язык, а одежды из слов, яркие и пестрые одежды, и они вовсе не подходили к тем смыслам, для которых предназначались.

Это Вера Дмитриевна знала с самого начала, угадывая, что они хотят принарядить. И поэтому вскорости поняла, что это был за язык, откуда он начался и почему так быстро развивался в последнее время. Это был язык человеческой тоски по Богу.

Но люди так долго от Него бежали, так изо щренно прятались, воздвигая для этого сложные лабиринты, по которым блуждала в потемках их мысль, что все чаще стали искать Его в отречении от Него...

Поэтому язык их размышлений о себе и мире так сложен и запутан. Все, что найдено уже людьми, приникшими к Богу, новые слепцы специально усложняют, изобретая для камуфляжа новые кон-

струкции и только удаляются при помощи их от искомого.

Это был язык больных людей. Их болезнь — слепота вела к неизбежному осложнению. Вера Дмитриевна дала этому осложнению условное и неточное название — самодостаточность. В потемках, когда не видишь мира, особенно остро ощущаешь самого себя.

Странно, но этой болезнью большей частью страдали так называемые нормальные люди.

У Насти не было микробов этой болезни. Не знали такого острого состояния самодостаточности и те больные, которых когда-то лечила Вера Дмитриевна.

Язык больных был внятен Вере Дмитриевне, даже бред их казался ей подчас понятнее, чем иные речи здоровых. Это оттого, что здоровые быстрее бежали от Бога и все непонятней становился их язык. Они почти не понимали друг друга.

Язык этот был таким же трудно переводимым, как язык отца, хотя ничего общего не было в существовании больного, одинокого старика и этих еще молодых мудрецов.

И все же лучше всего ей удавалось улавливать Бориса и Колю. Наверное, потому что их споры были не абстрактными и холодными, а страстными, иногда жестокими с личными выпадами.

”Твоя универсальность превращается в порок, почти в приспособляемость”, — кричал Коле Борис, а тот нервно вышагивал от окна к окну, садился на секунду и снова ходил, курил одну за другой и сыпал пепел себе под ноги.

И вот как раз тогда, в самый разгар их спора, в комнату заглянула Настя.

Она улыбнулась. Улыбалась она редко и улыбка ее была такой непривычной, милой и робкой, что не заметить и не удивиться ей было невозможно.

— Хотите, я вам поиграю песню? — спросила она и открыла пианино.

Коля застыл по дороге к окну и недоуменно повернулся к ней.

— Ну вот еще что?! — вырвалось у него.

— Хотите? Сейчас, — Настя не захотела слышать его вопроса.

Она бережно притронулась к клавишам и заиграла простую и трогательную песенку, которую сама незадолго до этого сочинила. Она назвала ее "Щебетом птиц".

Песня была без слов, Настя только приговаривала в такт, "раз, два, три", как учила ее учительница. А когда сыграла, посмотрела на Колю и спросила:

— Нравится? Правда, милая?

А он ответил:

— Я ничего, право, в этом не смыслю. Надо со специалистами посоветоваться.

— Хорошо, — сказала Настя и ушла.

После этого все долго молчали. Маша укоризненно посмотрела на Веру Дмитриевну. А спор Бориса и Коли, видимо, иссяк сам собой.

Коля почти всегда приходил к ним без жены. Маша объясняла это тем, что он стесняется ее глупо-

сти. Толко на семейные торжества они приходили вместе.

Жена его Тоня была когда-то незаурядной спортсменкой, а теперь работала тренером на стадионе. Они поженились чуть ли не в десятом классе. Тоня была тогда звездой школы.

Тогда в нее и был безнадежно влюблен Борис, но тяжело пережив ее любовь к Коле, надолго расстался с ними.

Сошлись уже снова они в университете, когда Борис был женат на Маше. Окончив университет, Коля и Борис получили работу в одном и том же месте. Вскоре они пристроили туда и Машу, она была хорошей переводчицей, легко усваивала трудную терминологию и с удовольствием рассталась с преподавательской работой.

Коля некогда был любимцем всего факультета, так, по крайней мере, считал Борис. Ему прочили блестящую будущность. И если бы он не начал пить, все пошло бы иначе...

Теперь его талант уходил на тезисы к докладам и выступлениям. Языков он не знал и часто прибегал к Машинной помощи, она переводила для него чуть ли не целые книги. С этого все и началось у них.

Боже мой, зачем они встретились? Неужели для того, чтобы погиб Коля, а Борис остался одиноким? А Маша казнилась всю жизнь?

Борис называл Колино пьянство "роковой болезнью совести" и "одним из самых страшных социальных советских кошмаров".

Они были взаимосвязаны, эти диагнозы. Так

бессмысленно и жадно никогда не пили в России. Водкой заливали стыд, глушили бунт, муки национальной гордости и попранной совести. Похмелье все не наступало, хотя пьянство охватило всю страну.

Колю водка изнуряла. Но он хотел этого, не мог иначе, совесть его заболела уже давно, уже в университете, после одной из разгромных кампаний, в которой он должен был участвовать, как комсомольский деятель. Сначала он пил тихо, до изнеможения много. Потом пошли бурные пьянства с мордобитиями, милицией, вытрезвителями. Но этот период был недолгим, внезапная болезнь притормозила его падение.

И вот тогда проснулась в нем новая жажда, которая стала соперничать с той, прежней. Жажда знать.

Однообразен дьявол, но этот соблазн дороже для него многих других, не всем он его предлагает, не всем он под силу. Только уверенность в самодостаточности рождает страсть знать и только она может помочь развернуться этому соблазну.

Коля спасался этой страстью от водки и от совести. И вот жажда пить умаялась презрением, а совесть объяснялась неврастением — лекарства притупляли ее успешней, чем водка.

Это была тяжкая страсть, одна из самых гибельных для души.

Коля хотел постичь только очень сложную истину, простой он не хотел. И чем дальше он шел по лабиринтам науки, тем запутанней они становились.

Знание несло через него, как воды горной речки, оно уносило с собой щепки, траву и мелкие камни. Через мгновение от них не было и следа. Только уставшая память вяло перебирала и монотонно повторяла факты и выкладки.

Надо было разгрузить себя от знаний и тогда на помощь приходила та старая жажда.

И все же Коля признавал одну тайну. Он сказал об этом Вере Дмитриевне.

Какая-то минута была тихая после бурных их споров с Борисом и еще с кем-то. Коля наклонился к Вере Дмитриевне и спросил:

— Вы, кажется, устали от наших интеллектуальных игр?

— Честно сказать, да. А вы нет? Не устали? Хотите все познать, все тайны разгадать?

— Кроме одной все в конце концов можно узнать, если жизни хватит.

— Какой же?

— Кроме любви.

— Ну и то слава Богу...

Что он называл любовью, теперь никто не узнает. Но тогда Вере Дмитриевне послышалось, что речь шла о необходимости видеть, чувствовать и непременно знать того, кого любишь.

Он часто задавал Маше неожиданные вопросы, втягивая ее в споры, хотел о ней знать больше и, главное, на чьей она стороне.

А она была на его стороне, но Бориса бросить не захотела. Наверное, из-за меня.

Мысль о самоубийстве появилась, наверное,

еще тогда, когда он начал болеть. Он жаловался только Вере Дмитриевне на свои болезни. Но она не знала, как можно излечить его болезни, истекающие из одного источника. Источник мог ликвидировать только сам Коля, а для этого следовало привести в порядок свою совесть.

Не глушить, а слушать ее. Но Коля боялся сойти с ума, если станет слушать себя.

— Вы не представляете, сколько во мне голосов! Полифония! — признавался он Вере Дмитриевне, — их невозможно слушать. Они противоречивы. Как же я стану слушать себя? Кто из них "я", наконец?

О, как однообразен дьявол! Приучить Колю пить ничего не стоило, ведь надо же заглушить голоса, которые он нашептывает!

Это не голоса, Коля! Это мысли, которые возникают в раздробленном, расколовшемся сознании. Они как осколки разбитого целого. Их надо собрать, Коля! Их можно успокоить! Начни с малого, пойми зачем ты...

Коля смеялся смущенно и вместе с тем покровительственно. Какая странность искать Бога, разве от этого что-нибудь реально меняется в окружающем мире, он все так же детерминирован движением материальных частиц. Да, мои материальные частицы станут пеплом в одной из печей, печально, ну что ж!

Дальше шел тупик и они разместились по разные стороны его. Вера Дмитриевна пробила в нем

отверстие и покинула его навсегда. Вслед ей слышался пьяный смех Коли.

Смех был таким отчаянным и громким, что похож был на рыдания, а, может, ей так казалось.

Наверное, казалось. Но что такое казалось? Это ее реальность. А Колина реальность была закрыта от нее. Как он топтался там, в том тупике, — она не знала. Никто не может знать этого, кроме Бога.

Колина совесть, видимо, догадывалась о том, что Бог еще не ушел от него, и за это ее умерщвляли. Все, почти все ее больные отогнали от себя когда-то Бога. Не дай мне, Бог, сойти с ума! Прав Николай Георгиевич, в психбольницах, особенно в старческих отделениях, больные являют собой ужас безбожного существования. Тучные, с рыхлой, разъевшейся плотью или ссохшиеся от болей и тревог, белые старики и старухи. Они качаются как маятники, сидя на кроватях, и смотрят в себя пустыми глазами. Что они ищут? Там все пусто, в той сожженной пустыне нет и маленького побега, там сожжены зерна и уже не прорастут...

Вышел Сеятель сеять. Он вышел в ту пору, когда, казалось, в России все зерна сожжены, или растоптаны в прах при дороге. Растоптаны гусеницами, колесами, сапогами.

Он прошел легко и беззвучно босыми ногами по земле, почти не касаясь ее морщин и вслед Ему прошел дождь. Вера Дмитриевна слышала тогда Его беззвучные шаги. Босые ноги еле касались земли и дождю не нужно было смывать Его следы. За окном шелестели листья травы и деревьев, тихо облетали



одуванчики от Его неслышных шагов и дождя. Она прислушалась тогда, узнала Его и заснула...

Совесть кричала по ночам. Особенно хорошо ее слышали стены больниц. Она выкрикивалась там до конца, до разрывов.

Разрывы следовали непрерывно, один за другим, их звали то инфарктами, то инсультами. Замкнутая система размыкалась, она не могла постоянно питать самое себя, самодостаточность была пригодна лишь для того, чтобы копить яды, которые вырабатывала совесть. Кровь уставала пробивать преграды и вымывать пустоты, сожженные ядами. Они болели и стены слышали их стоны.

Это ощущение больничных стен, вмещающих в себя энергию страданий, Вера Дмитриевна знала во время своих ночных дежурств.

Больные, с которыми она имела дело, не умели спать. Они съедали килограммы снотворных, но снотворные еще более укрепляли преграды, сквозь которые должна была пробиться кровь.

Вот теперь и я, Коля, тоже не сплю, и моя совесть кричит. Это я виновата, что ты умираешь.

Последняя мысль ужаснула Веру Дмитриевну. Когда-то студенткой на практике она видела в больнице женщину, выбросившуюся из окна. Она лежала, запеленутая коричневыми от крови бинтами. Неужели Маша пойдет в больницу?

Вера Дмитриевна крикнула Настю.

— Ты меня звала? Чего тебе? — Настя на ходу вязала и не подняла головы.

— Где Боря, посмотри...

— Зачем он тебе? Для хорошего или для плохого? Сейчас посмотрю.

Вскоре Вера Дмитриевна услышала Настин голос:

— Нельзя так лениться. Пойдем кормить голубей. Они ждут нас. Ты обещал мне.

Они вошли к Вере Дмитриевне.

— Тетя Вера, мы пойдем с Борей голубей кормить. У меня пшено есть. Все равно он не спит, лежит с открытыми глазами. Ладно?

— Только погода. Ты еще пока повяжи. А Боря со мной посидит. Я давно его не видела. Потом с тобой пойдет.

— Хорошо, — Настя посмотрела длинным и внимательным взглядом на Бориса и вышла, а он осторожно прикрыл за ней дверь.

— Как она странно иногда смотрит. Будто что-то знает и вот-вот скажет...

— Она все знает.

— Знает? Кто ей сказал? Зачем?

— Сама услышала. Ночью проснулась и что-то услышала. Этого ей достаточно. Она ведь никогда не любопытствует, ей подробности не нужны.

— Все знают. Пускай знают.

— Ты действительно не спал или она тебя разбудила?

— Разве я могу спать? Я не железный, хотя Маша считает меня автоматом.

— Дать тебе что-нибудь успокаивающее?

— Если можно. У меня все скачет в голове, в мозгу как кадры сумасшедшего кинематографа, а

тапер играет на разбитом вдребезги пианино. Кадры бегут с безумной скоростью, и я ни один из них не властен удержать... Так никогда еще не было. — Голос Бориса срывался, он не мог сидеть и ходил по комнате.

Вера Дмитриевна заметила, что он осунулся, не брит и костюм помятый, видно, он лежал, не раздеваясь.

— Сядь на минутку. Вот сюда, на кровать, а то мне трудно слушать тебя, когда ты бегаешь.

Он сел, потом опять вскочил, подошел совсем близко к изголовью и стал задумавшись, неуклюже расставив ноги. Так он стоял ночью в коридоре.

— Да... Словом, я погиб, Вера Дмитриевна. И не по своей вине. Погиб, что тут говорить, — он нервно засмеялся. — Погиб неожиданно и случайно. И теперь нет меня, уничтожили, расстреляли. Вот вам и нравственный закон, заповеди, Бог, совесть. Говорят одно, делают другое, каких только слов я не наслушался в последнее время, — он сокрушенно покачал головой, — чего только люди не проповедуют, чтобы прикрыть свою подлость, предательство и разврат. Прикрыть или усложнить, чтобы изошренней еще было. Но усложняй, не усложняй, все просто. Или нет, или сложно? Я наверное путаюсь. Меня, кажется, кадры этого безумного кинематографа закружили вконец... Вдруг все стало вспоминаться, зачем только, для чего? Юность, Тоня, Коля, такой уверенный в себе и легкий, словно бы бесплотный. Победителей не судят... Я тогда в первый раз напился, чуть не умер. Я так страдал тогда, ко-

гда он женился на Тоне... Сейчас я уже так не могу. И все это опять через двадцать лет? Почему? Двадцать, если считать, что у них с Машей началось это только недавно, а если еще раньше, если давно? Тогда как? Тогда значит меньше двадцати будет... Впрочем, какая разница. Почему-то считать тянет. Это самозащита сознания. Считаешь и не так мучаешься. Моя мама всегда считала все: номера машин, окна в домах, рисунки на обоях... Но это не передается по наследству. Дурная привычка или защита от страшных мыслей. Раскис и я, Вера Дмитриевна, постыдно раскис, но вы поймете меня, я знаю. Мерзко раскис и действительно чувствую себя убитым. Главное, я не могу вместить как это люди могут решиться на такое предательство, на подлость и грязь. Ей я не сказал, а вам скажу. Неужели разврат так соблазнителен? Никогда не думал. Непостижимо. И никакие декларации не спасают, все рядом с развратом становится мерзостью. Наверное, это оттого, что он распадался на куски в последнее время. Вы бы послушали, что он говорил, бедняга. стыдно было слушать. А что он писал? Позор. Это все у нас замечали. Да и он тоже, видно, чувствовал свою импотенцию. О чем же они могли говорить, если это не разврат? Да ни о чем! Ведь он писал и думал в последнее время как дворник, лозунгами, которые вывешивают над подъездами. Он даже, кажется, подрядился лекции по научному атеизму читать. Деньги зачем-то стал копить. Редкое сочетание пьяницы со скупым рыцарем. Словом, полный распад. А она — что, ничего не понимала? Затемнение или

тоже моральная деградация? Вот что интересно узнать. Нет, если это — не ложь, то что же правда, скажите вы мне. Знаете, что она сказала мне сегодня ночью? ”Что бы ни было с ним, я уйду к нему. Даже если он останется калекой, инвалидом, обрубком, я буду искупать свою вину перед ним”. Непостижимо! Вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю и не мог ничего ей возразить, только подумал, что мы потеряли дар речи и говорим на разных языках. Но потом подумал: — А я? А передо мной нет вины? Но я не решился задать ей этот вопрос. Может быть, я не прав? Посудите сами. Хорошо. Можно. Но какую вину? А кто я такой, Вера Дмитриевна? Скажите мне! Ну конечно он — гений, погубленный гений, перед которым виноваты все — социум с его жестокими законами и мы. Я в том числе тоже, я — лучший его друг, всю жизнь возившийся с ним как нянька, я тоже, да? Он знал, как я дорожу своей женой! Но я не в счет. Кто я? Неудачник, болван, путающийся под ее ногами. Пусть неудачник плачет. Пошел вон, болван!

— Он умрет, Борис...

— Умрет? Возможно. Умрет... Да, вы правы, надо думать до конца. И если хотите знать, без фальшивой позы — лучше, если он умрет! Лучше для Маши и для него самого. А еще ведь и Тоня есть, о ней все забыли. Простушка Тоня, мечта нашей юности. Но ее за человека давно уже никто не считает. Она дура, видите ли. Но о ней теперь вспомнить придется. Как они поделят его? И Маша захочет искупить свою вину? Хотел бы я посмотреть на это!

Он опять забегал по комнате.

— Нет, это был полный распад. Полный. Полная деградация. Как я мог его терпеть? Только я и мог его терпеть, в институте его уже избегали, постепенно отстраняли от всего. И еще... она терпела. Она говорит: жалость. Не верится что-то. Это самый элементарный разврат, грязь. Вот что это такое. Как хотите. Подлость и все. Самое элементарное предательство. Разве не так?

— Я задам тебе в ответ на это только один вопрос, тем более, что разговор наш принял такую форму.

— Какую форму?

— Откровенную. Ты не скрываешь от меня вроде бы своих мыслей, говоришь, что в голову пришло. Разврат, предательство, но твой максимализм можно понять...

— Простите меня. Я как под наркозом. Но иначе сейчас говорить не могу. И не буду.

— И я иначе не хочу говорить. И мне так проще в чем-то, хотя мне так тяжело, что ты... Но не будем об этом... Вот что я хотела спросить тебя. Скажи, ты знал об их отношениях?

Борис остановился, нахмурил брови и вдруг злобно засмеялся.

— Еще бы! Конечно знал! Они были слишком неосторожны в последнее время. Но я старался не верить, уговаривал себя не верить. Даже когда услышал их телефонный разговор, случайно, естественно. Это было омерзительно. Он был пьян, он никогда раньше не называл меня Бобиком. В юности звал

Бобом, а тут... Но с пьяного взятки гладки, тем более я случайно услышал их разговор. Он как бы почувствовал что-то и вскоре после их разговора позвонил мне и сказал: "Знаешь, старичок, я пропадаю, может и правда в больницу лечь?" Я ответил: "Смотри, мол, сам". Не мог слышать его лживый голос. Ведь совсем недавно с ней договаривался. Они просто издевались надо мной, Вера Дмитриевна. Какой уж тут максимализм...

— И ты, значит, тоже лгал, притворялся, поощрял своим лицемерием, как ты сам говоришь, этот разврат и предательство. Ты же не выгнал его из дома, а наоборот, нянчился с ним и не ушел от Маши? Почему же? Если все так просто?

— Почему? Не знаю почему. Я думал об этом. Не знаю. Вы хотите сказать, что я тоже подлец?

— Бог с тобой, Боря, что ты говоришь? Я думала, может ты тоже его жалел, ждал, что проснется его совесть. И вот, видишь, она проснулась только так...

— Тогда выходит, я тоже виноват, по-вашему! Нет уж, увольте. Нет! — он даже топнул ногой в раздражении. — Я ни в чем неповинен! Ни в коем случае я не могу допустить, что я... Ах, вот как, если бы я сам ушел от нее, они бы поженились и тогда он был бы жив? Так, что ли? Уверяю вас, что и Маша так думает! Я, значит, поощрял. Вы так повернуть хотите? — он резко остановился у самого изголовья кровати.

— Что ты несешь, Боря! Ну остановись, нельзя же так! Разве можно так слушать, переворачивая все

с ног на голову?! Я хочу тебе представить эту ситуацию несколько иначе, чем она сложилась в твоей воспаленной голове. Ты раздражен, слишком раздражен, а раздраженные люди — плохие судьи. Особенно, если их задела лично. Мы не знаем — ни ты, ни я, что было у них. Знаем, что Маша не захотела оставить тебя и уйти к нему. Она могла бы это сделать и не сделала. Так?.. Значит... Она жалела и тебя тоже. Так ведь! Знаем, что он умирает, и что он захотел умереть. Значит, он мучался такой жизнью. И предательство свое искупил. Так или нет?

— Не знаю. У вас выходит все наоборот. И выходит, что я не додумал. Ложный анализ — самая соблазнительная для ума вещь. Простите меня. У меня сейчас такое ужасное состояние... полной беспомощности, будто меня связали чем-то жестким и липким, и выпутаться из этого невозможно. Вот я и наговорил что-то...

Он сел на кровать и долго молчал. Держал ладонями голову и изредка сокрушенно покачивал головой и всем телом. Потом достал носовой платок и отер лицо.

— Ты плачешь? — спросила Вера Дмитриевна.

— Нет, я вспотел. В жар бросило, когда подумал, что он умрет. Вчера только я его видел и вдруг его нет. Непостижимо. И я... Нет-нет, пусть он лучше жив останется. Пусть калекой хоть, но живой. Я уйду сам. Мне ничего не надо. Она права, мне нечего здесь делать, путаться под ногами нечего!

— Не принимай пока никаких решений. Лучше



в больницу сходи, Может, она там, приведи ее. Может, он в сознание пришел, простить его надо...

— Простить?.. Я и так, пожалуй, простил его. Да и зачем? Жестов делать я не умею, вы уж извините. Да и не верю я во все это. И никогда теперь не смогу поверить...

— Смотри. — Вера Дмитриевна почувствовала слабость и закрыла глаза.

— Она меня... Мне сегодня ночью показалось, что она убить меня хочет, и почему-то я решил, что убьет она меня утюгом. Бред какой-то. Лучше я с Настей пойду, к голубям, а вы сосните, вы спать хотите, я вижу.

Идите. Только ненадолго.

## 6

”Передаю свое письмо через Зину. Я написал его вчера. Может, оно хоть чем-нибудь утешит тебя. Я потрясен известием об этом молодом человеке. Буду у тебя непременно завтра. Н.”

Записка была вложена в тетрадку, как всегда собственноручно сшитую Николаем Георгиевичем. Вера Дмитриевна попросила Зину прочесть письмо.

”Милая ты моя, я думаю все чаще о тебе и может быть даже постоянно, а сегодня ты, слава Богу, приснилась мне. Сон рассказывать не стану, сны принадлежат только тому, кому их показывают, и потому рассказать их нельзя. Только скажу, что сон мне был о терпении.

Ты как-то сказала, что тебе приснился сон о

смирении. Я удивился, но не стал расспрашивать. Удивился, что может сниться такая обобщенность, чувство ли, настроение ли, словом, понятие. Мне хотелось тогда узнать, в каком смысле приснилось тебе смирение, но я постеснялся спросить. Теперь мне самому приснилось ощущение, безмолвное и многозначное, даже рассказать не знаю как. Сюжета в этом не было и слов не было, только было ощущение во глубине сна возникшее, а потом наяву ясно подтвердившееся трезвой мыслью, что снилось мне терпение в его сути, а не в облачении слов, как ты говоришь. Ну вот видишь, как путанно получается, когда пытаешься передать сновидения. Нам часто, по-видимому, снятся смыслы вещей, но мы гонимся за сюжетами, за историей. Эмпирия, постороннее, сиюминутное оказывается нам необходимее, чем нутро вещей и слов и в этом сказывается нетерпеливость наша, желание отвлечься, не погружаться, а прикрепиться к тому, что уплывает, ускользает, а потом пожалеть об ушедшем. Сожаление об утратах есть принадлежность сиюминутного, оно убывает неизбежно, а ты сожалеешь о нем и вот тебе явственно становится несовершенство жизни и мира: все течет и изменяется...

Зачем же нам терпение, думает внутри нас что-то, бросающее нас в поток посюстороннего, если все равно ничего нельзя дожидаться — все течет и все меняется в этом лучшем из миров. Меняется вместе с нами.

Но вот ты не послушался этого зова слабости, побуждающего тебя бежать, мчаться вместе со всем

потокom меняющегося мира. Ты пересилил его и остановился, решил подождать. Поток умчался без тебя. Это первый шаг к терпению.

И вот я подумал, смотри-ка как глубоки и вместительны смыслы открывающихся нам миров. И более того, они сцеплены друг с другом: мир терпения и мир смирения, мир веры, мир любви и мир надежды. Ты открываешь слово и в то же время снимаешь с него покров, тыходишь в него дверь: "Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет", как сказано в Евангелии от Иоанна. Тыходишь этой дверью и попадаешь в богатейший смыслами мир. Он не самостоятелен, как мне кажется, он вписан в Вечность и принадлежит ей: "Кто войдет Мною..."

Мир терпения виделся мне во сне не зрительным образом, ни глаз, ни ухо не видели и не слышали ничего. Это было, пожалуй, безмерное пространство, строгое и печальное пространство без начала и конца. Нет, все-таки я видел его, потому что припоминаю, что было оно залито белым теплым светом, ровным светом страдания и муки, но не болезненной муки, не той, что раздражает, а той, что горька, но дает надежду избавиться от нее. Теплый свет терпения означал, как я понял, близкую близость этого мира к вечности. Претерпевший до конца спасется — вспомнил я и понял, почему теплый свет царил в этом мире. Я хотел было увидеть отблески его здесь, а нашем мире и тогда где-то глубоко во мне засветилось воспоминание об операционных, залитых холодным режущим светом, и о белых палатах

больниц. И тут я увидел твое светлое и теплое лицо. Значит, я не прав, сон имел реальные очертания.

Ты ходила легко и бережно по этому открытому мной миру и трогала руками белый теплый свет и ему радовались твои глаза. Тогда я как раз проснулся. Я не могу сказать, что был спокоен за тебя и первая мысль моя была, что тебе худо, раз ты так странно увиделась мне. Подумал я, что ты, наверное, жалуешься мне на боль и вот твоя жалоба лучом пробилась в мой сон и обрела такие очертания...

Я начал молиться и вот тут понял, что не должен сокрушаться о тебе. Ведь теплый свет терпения окружил тебя и не дает тебе погибнуть. Я утешился и решил записать свой сон для тебя.

И вот еще о чем я подумал, Верочка. Миры, которые мы в течение жизни открываем, поселяясь в них, вливаясь в их свет, были, оказывается, поблизости от нас и раньше. Только они были закрыты, мы не знали, где дверь, ведущая в них и не знали их имен. Я помню, что учился давно терпению, но это было другое терпение, оно размещалось в другом, видимом пространстве и означало скорее не терпение, а выживание.

Выживать — это совсем другое, чем ждать. Это значит не надеяться, а располагать. Я учил этому настоящему терпению — выживанию своих больных, а они совсем этого не умели. Оказывается, паллиативам научить еще труднее, чем истинным вещам, потому что у паллиативов нет сколько-нибудь значительного смысла. Для чего собственно ждать, тер-

петь, если *нет в этом никакого смысла*. Именно этот самый вопрос я часто слышал от своих больных. Но на него есть только один ответ: претерпевший до конца спасется, спасение и есть смысл всего. Собственно, крест и символизирует (в глубоком значении понимания символа, не только как знака, то как вместилища смысла) терпение. Это с одной стороны.

С другой же он — путь к воскресению, с него начинается воскресение и вечная жизнь. Значит, не знающий терпения, не узнает жизни, у него все равно есть свой крест, но без терпения он воспринимает его, как мучение. И вся его жизнь это трагическая дорога к смерти. Он хочет обминуть ее, ищет способов, но нет у него терпения во имя жизни. Значит, он — несчастнейший из людей, он тратит энергию и расходует силы не на жизнь, а на смерть, ибо терпение, так же как и смирение — концентрация энергии.

Россия наша населена сегодня такими несчастными людьми. Многие из них обмануты друг другом, отравлены ядом безверия. Потому так массовы и однообразны сегодняшние болезни при всем многообразии человеческих личностей. Неврастении, психопатии — это заглушаемые, не находящие выход потребности в бунте, в мятеже. Гармония с Богом и с миром возникает из терпения, которое, если угодно, есть своеобразное юродство Христа ради. Но там, где убивают Бога, непременно хочется убивать и себе подобных. Мятеж находит выход, разрушая нравственность.

Но мы видим, как размыкается этот убий-

ственный круг. Посмотри-ка, в сегодняшнем религиозном подъеме есть явная зависимость от терпения России.

Сила терпения непобедима ни страхом смерти, ни страхом голода, унижения. И поэтому очень странно бывает слышать о пассивности христианства, будто в нем из-за отсутствия порывов к мятежу и из-за стремления к гармонии есть некое приспособленчество. Вот уж где нет никакого приспособленчества, так в терпении. Оно же — активнейший процесс спасения себя и других — тысячи спасутся возле тебя! Как можно не понимать этого! Терпение это ведь твердый отказ участвовать во лжи и насилию.

Ты прости меня, что пишу тебе известные вещи, но это, видно, отголоски моих споров с одним моим старым больным, который недавно узнал, где я нахожусь, и навестил меня. Я расскажу тебе о нем при встрече. А сейчас хочу продолжить свою мысль о России: здесь воочию для всего мира и в назидание ему дискредитированы все три искушения дьявола: ни чуда нет, не превращены камни в хлеб, хлеб, напротив, совсем может исчезнуть, ни власти над душами нет, только над желудками. И мистический роковой смысл этого поражения открывается сегодня миру. Как и смысл свободы отречения от Бога. Познаете истину и истина сделает вас свободными, — сказано Господом. Впервые в истории человечества созданное атеистическое государство продемонстрировало всему миру, что атеизм есть рабство.

Этот опыт принадлежит не только России. Господь не случайно показал это миру, повидимому, такие годы ему еще предстоят. И здесь спасение только в терпении, строгом и верном, в терпении креста. Помнишь в Апокалипсисе: "И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле".

Мне часто видится странная картина, Верочка. Мне видится, как от людей, живущих еще сегодня на земле, устремляются к небу лучи света. Помнишь Настины слова, что люди — лучистые и их окружают или сияние или темные, серые, а то и коричневые облака? Так вот, лучи пульсируют как сигналы маяков, сигналы бедствия или радости. Это слова наши, не не пустые одеяния их, а *тело* слов — мысли, помыслы, идеи, которыми живут душа и сознание. Покидая нас, они излучают сигналы.

Они богаты энергией, стремительны и обладают, права, пожалуй, Настя, невидимым, но очень многообразным цветом. Мы говорим, молимся, думаем, страдаем и в Царство света летят излучаемые нами силы, те, что в состоянии туда долететь. И самым сильным, прямым и теплым светом летит свет безмолвного терпения. Его ровные надежные потоки сейчас устремляются в небо из России.

И над ней поэтому небо другое.

Вот, что я хотел тебе написать. Кланяюсь тебе низко.

Твой Н.Г.

В комнате Маши отец Сергей и Николай Георгиевич служат молебен о здравии Коли и Веры Дмитриевны. Они приехали на прощание с Василием Ипполитовичем и Верой, и зашли сюда.

Взгляд у отца Сергея сегодня жесткий, глаза внимательные, быстрые. Обычно такие глаза у него бывают только в храме. Иногда Вера Дмитриевна замечала особый его взгляд, короткий, быстрый, как луч сильного света. Словно фонарь в нем какой-то зажигался и освещал того, на кого он смотрел. Освещал на мгновение и гас.

— Вы лежите, лежите, не вставайте, я вижу, вам трудно, — сказал он, благословив Веру Дмитриевну, — мы туда пойдем с Машей. Здесь не поместимся мы...

Маша растерялась, она не ждала этого, а Борис тотчас же попрощался и ушел, сославшись на срочные дела.

— Идите, идите с Богом. Раз надо. Жалко, конечно, что не помолитесь с нами, — отец Сергей не раз слышал от Бориса, что Бога нет, но не придает значения его высказываниям и говорит с ним, как с единомышленником. Он утверждает, что неверующих людей нет. Те, кто называет себя атеистами, просто не знают себя.

Маша обрадовалась, что Борис ушел, и как только закрылась за ним дверь, попросила благословения. Кажется, она впервые на это решилась, никак до сих пор не показывая свою веру. Крещение при-



няла серьезно и спокойно, без лишних слов и жестов, как необходимое для жизни событие. Ничем не изменило оно и ее внешнюю жизнь. В церкви она бывала редко — на Пасху и Рождество. Ездила к отцу Сергию за город, боялась, чтобы на работе не узнали. Вера Дмитриевна огорчалась, считая ее приход к религии формальным, но отец Сергей успокоил ее: ”— Так часто бывает. Придет время и ей”.

Может, и приходит это время, — подумала Вера Дмитриевна, глядя в Машино бледное лицо. Как важно, что они заехали сюда, для Маши важно. И Настя обрадовалась, спросила с сияющим лицом отца Сергия: — А мне можно с вами?

— А как же? Обязательно. С тобой наша молитва крепче станет. Ты петь будешь? — спросил он, и глаза впервые ненадолго улыбнулись.

Николай Георгиевич и Зина молчали. Вера Дмитриевна подумала, что только у них совсем спокойные лица. Зина и раньше говорила, что никогда и ни с кем не чувствует себя так спокойно, как с отцом Сергием.

”— У меня так только с мамой когда-то было в детстве, — признавалась она, — когда я спать с ней ложилась. Полная защищенность. Да еще с тобой иногда так бывает, тетя Верочка, когда ты думаешь обо мне. Больше ни с кем”.

Когда-то Вера Дмитриевна робела отца Сергия, не знала как говорить с ним, хотела понравиться. Заикалась, то наговаривала на себя лишнее, то оправдывалась, то так стеснялась его, что и не знала, что говорить. Это была извечная мука немоты,

что мучала ее на протяжении всей жизни. Немота снилась по ночам, смыслы кричали в ней, но немота мешала жить свойственной им жизнью и они уходили вглубь.

Немота мучала и ее больных. И поэтому они не понимали друг друга, хотя болезни их лечились только Словом. А шелуха, которую они считали за слова, выплывалась с легкостью, но ничем не могла помочь. Только по ночам останавливалось ее извержение и тогда просыпались смыслы.

Вера Дмитриевна знала теперь откуда и почему возникала немота. Она была неправомерной и по сути занимала место неродившейся любви. Поэтому она легко обнаруживалась в словах и так легко служила фальши и так просто ей было становиться суррогатом любви.

А вот Настя никогда не знала этой немоты. Вера Дмитриевна слышит ее чистый голосок, она подпевает Николаю Георгиевичу. Как жалко, что Вера Дмитриевна осталась лежать и не пошла с ними туда, сейчас у нее вполне хватило бы сил. Это их милые голоса прибавили ей бодрости. Сейчас еще почти не слышно колоколов, но если так лежать и слушать Настино пение, колокола опять проснутся.

Вот идут уже, кончили. Отец Сергей в облачении, за ним Маша и Николай Георгиевич.

— Мы с Машей поговорим. Потом и поедем. Хорошо? — спрашивает он у Николая Георгиевича.

— Да. Хорошо, — Николай Георгиевич кивнул головой и спросил у Веры Дмитриевны: — Измерить тебе давление? Раз ты думаешь, что у тебя наруша-

ется кровообращение, надо бы последить за давлением. Давай посмотрим, как сейчас.

— Сейчас все нормально. Не надо ничего измерять. Ты когда еще придешь?

— Может еще завтра. Если не поздно задержимся, я хотел бы с тобой побыть подольше, но завтра у нас две службы и много треб. Заночевать здесь нельзя.

— Жалко. Я хотела, чтобы ты теперь побыл у нас. Маша... и Борис да и все это.

— Да, понимаю. Как у них?

— Ничего не знаю. Как может быть? Плохо. Боря еле жив. Ее к следователю вызывали. Она не успела ничего мне рассказать. Времени не было и боится меня.

— Настя мне шепнула, чтобы я тебя утешил. Она думает, что ты на Машу сердисься. Она так молилась сейчас, вся в слезах стояла. И Маша...

В дверь звонили.

— Открой. Это, наверное, Боря.

Николай Георгиевич не успел выйти из комнаты, как в передней послышался голос Зины:

— Пожалуйста, вы к кому?

— К Вере Дмитриевне.

— Проходите вот сюда. Тетя Верочка, к тебе...

В комнату вошла Тоня, Колина жена. Как она переменилась! Сколько я ее не видела, — подумала Вера Дмитриевна и услышала:

— Что ж не здороваются? Не ожидали? Извините, что побеспокоила. Умер Коля... Где дочка ваша?

— Маша? Маша здесь. А что?

Тоня подошла к окну, мельком взглянула на иконы и повернулась лицом к окну.

— Сядьте. — Николай Георгиевич поднес ей стул, на котором сидел, а сам сел в ногах у Веры Дмитриевны.

— Садиться можно. Только некогда очень рас-  
сиживаться. Дел теперь много. Умер муж мой, из  
больницы позвонили мне час назад.

— Вы оттуда идете? — Вера Дмитриевна искала  
ее взгляда.

— Нет. Я иду туда. Вещи несу. И к вам зашла.  
У меня к дочке вашей разговор. Но я при вас хочу  
говорить или при Борисе.

— Лучше при мне, — вырвалось у Веры Дми-  
триевны.

— Нет, зачем тебе? Тебе не нужно, — сказал Ни-  
колай Георгиевич. — Тебе нездоровится. Позвать  
вам Машу?

— А вы кто будете? Брат, что ли?

— Это Николай Георгиевич. Я вас не познако-  
мила.

— А... вас Коля мой называл *Ромео*. Вы в  
церкви что ли работаете? Поете там, да?

— В церкви.

— Зовите-ка Машу. Мне некогда.

Она встала со стула и опять повернулась к ок-  
ну. Сжала ладони, хрустнула пальцами и пригладила  
волосы.

— Вот, Вера Дмитриевна, как все кончилось.  
Отмучались мы с Колей. А скоро можно было бы  
серебряную свадьбу играть.

У дверей комнаты раздался шепот Николая Георгиевича:

— Иди, иди. Надо.

Тоня повернулась лицом к двери. Вошла Маша и глаза ее поразили Веру Дмитриевну. В них было такое отчаяние, что они, казалось, изменили цвет, стали темнее с большими дрожащими зрачками и даже чуть-чуть косили. Поразили Машины глаза, наверное, и Тоню. Она молча смотрела на Машу, потом взмахнула рукой и сказала:

— Умер. Недавно. Позвонили из больницы. Вещи попросили. Умер, когда я домой ушла поест. Без меня. Никого с ним не было. Так что знай это. Твоя вина. Не хочу я тебя жалеть. Пусть они жалеют.

Последние слова она сказала с раздражением. В это время в комнату вошел отец Сергей.

Он внимательно посмотрел на нее и приветливо сказал:

— Ну вот видите! Антонина? А мы только что помянули вас на молебне. Давайте познакомимся, — он шагнул к ней и протянул руку. Но она ее не заметила. Приход отца Сергия и его спокойствие оскорбили ее.

— Молебен? Какой еще молебен? Кто просил вас о молебне и поминать меня?! Я вообще не знаю, что такое *помянуть*? Что это еще за слово выдумали такое? У меня мужа убивают, а потом молебны здесь закатывают! Святоши! Совсем с ума посходили... Он сюда к вам ходил и говорил мне, что это — дом его родной! Он пил у вас здесь и хозяйка дома

с ним жила! Вы убили его, слышите? И обобрали меня! А теперь молебны устраиваете. Не позволю! Ты, ты, ты! Ты... Молебен, будь же вы все... — Она кричала без слез, надрывно, ей не хватало воздуха. Но не позволяла себе плакать и от этого еще больше задыхалась.

— Принеси воды, Николай, — сказал отец Сергей и сел на место Николая Георгиевича. — Садись и ты, Маша, чего стоишь?

— Не надо мне воды. Не прикидывайтесь добренькими. Вы у нее лучше спросите, как она его погубила. И не стыдно вам всем так врать, в Бога какого-то играть? Какая гадость! Ты деньги у него забирала. Вы, мать ее, знаете об этом? Знаете, да? Говорите же немедленно! Я хочу все знать об этом!

— Какие деньги? — спросила Вера Дмитриевна шепотом и посмотрела на Машу.

Николай Георгиевич протянул Тоне стакан воды. В руках у него был пузырек с каплями.

— Не буду я ничего! Уберите воду! — Тоня резко оттолкнула рукой стакан и вода выплеснулась на пол.

Это смутило ее. Она достала носовой платок и стала им вытирать пол.

Все молчали и смотрели, как она вытирает пол. Потом Вера Дмитриевна спросила:

— Маша, какие деньги?

Маша посмотрела на отца Сергея умоляющими глазами, ожидая от него помощи.

— Разве вы не знаете о деньгах, Вера Дмитри-

евна! Надо рассказать, Маша, — спокойно ответил на Машин взгляд отец Сергей.

— Мама не знает о деньгах. Зачем ей все знать теперь. Может, пойдем ко мне, Тоня? И там спокойно поговорим. Видишь, мама нездорова.

— Я ни о чем с тобой спокойно говорить не буду. Ты обобрала меня и мужа моего погубила. И пусть все знают. Все! Ты должна быть наказана!

— Я наказана. Успокойся!

— Мало.

— Деньги Колины у меня. Я, конечно же, верну их. Половину отдам его маме. Никто у тебя ничего не собирался красть... — Маша смотрит теперь на Николая Георгиевича, на мать смотреть боится, и это всем видно. Голос ее дрожит, она вот-вот заплачет. — Он пропить все боялся. Он отдавал мне деньги на сохранение. Говорил, что на кооператив собирает.

— Врешь ты все! Ему не нужен был кооператив. А деньги, если хочешь знать, он *мои* пропивал. Тебе за что платил — неизвестно.

— Зачем ты, Тоня? Видит Бог...

— Тьфу, ты опять со своим Богом лезешь! И какое ты имеешь право делить деньги? Ты что, судья? Что значит половину матери? Я и сама с ней разберусь! Ты знаешь, сколько стоит похоронить? Ведь институт ни копейки не даст. Они его самоубийцей считают. Из-за тебя. Мы с тобой еще к следователю пойдем, пусть он разберется. Ты почему мне сама-то о деньгах не сказала, а матери его сказала? Думала, не узнаю, да? А она мне сказала. Мне эти... тоже... Я из принципа. Чтобы все знали, какая ты!

— Коля не скрывал, что отдавал мне деньги на сохранение. Боря знал об этом тоже.

— Боря? Боря все знал. У вас так полагается все при муже делать. У верующих. По-божески. А ты что — сберкасса? И мать твоя знала, скажешь? Врешь, мать ты стыдилась. Ему только призналась, да и то тогда, когда я пришла, — она махнула рукой в сторону отца Сергия. — Сейчас же отдавай все! И на похороны не смей ходить. Надеюсь, не посмеешь, иначе так и знай, всем расскажу, кто ты есть, весь институт узнает! Я — вдова его, а ты — никто. Никто ты! — теперь она плакала. Губы и подбородок дрожали, руки теребили мокрый носовой платок, которым она до того вытирала пол. Она то вставала со стула, то снова садилась, и видно было, как дрожат ее колени. Платок она прикладывала к глазам, а уголок его прижимала к губам. Наверное, для того, чтобы унять дрожь.

В это время дверь комнаты тихо отворилась, и в нее заглянула Настя. Увидев Тоню, она пошла прямо к ней и остановилась.

— Ты плачешь, да? Ты кто ему? Мама? Ты не плачь, он хотел ведь улететь. Сейчас его душа с ангелами. — Глаза Насти стали совсем светлыми и засветились радостью. — Он сейчас летит. Как луч серебряный. Легкий такой. Не надо, — она подошла к Тоне близко и хотела отвести ее руки от лица.

— Не трогай! Слышишь? — крикнула Тоня.

Настя хотела заглянуть ей в глаза и погладить ее по голове, но Тоня с брезгливостью отвернулась.

— Да что это такое! Уберите от меня эту слабо-



умную! — Она резко встала со стула и оттолкнула его ногой.

Настя отступила на шаг и посмотрела на Николая Георгиевича, искала его защиты.

Вера Дмитриевна, поймав ее взгляд, приподнялась на подушках, застегнула последнюю у самого горла пуговицу кофточки.

Все молчали. Настя подошла к двери и еще раз посмотрела на Тоню, потом на Машу и вышла.

И все услышали ее плач, она стояла у дверей и плакала.

— Вам пора уходить, Тоня. Сейчас же. Пора уже... — сказала Вера Дмитриевна.

Тоня посмотрела на нее смущенно, опустила голову, потом подняла ее, но уже старалась ни на кого не смотреть.

— Понятно. У меня горе, а у вас — Бог.

Она остановилась у двери в нерешительности, не хотела столкнуться с Настей. Маша поняла ее, открыла дверь и вышла первая. Насти в коридоре не было.

— Это страдание так выбаливается. Бунтом. Ей тяжело сейчас. Помоги ей Бог, — отец Сергей перекрестился.

— Ты как, Вера? Ты ела сегодня? — спросил Николай Георгиевич.

— Ела, конечно. Ну, чего ты беспокоишься? Со мной все нормально идет. Лучше пойді к Насте, посмотри, что там. Да вам и пора уже...

— Ничего. Я сейчас отправлюсь туда, а ты по-

позже придешь, а, Николай? Давай так, — сказал отец Сергей.

— Да, я посижу еще немного.

Отец Сергей попрощался и вышел. Николай Георгиевич сдвинул лекарства со стула и сел на его краешек. Взял в ладони руки Веры Дмитриевны, грел их.

— Знаешь она мне кого напомнила?

— Кто?

— Эта женщина, Антонина. Мусю, жену мою бывшую.

— Ты выдумал. Муся совсем на нее не похожа. Муся высокая и тонкая, резкая в движениях, а эта другая совсем.

— Нет, не внешне. Внешне, действительно, ничего общего. Поведение похоже, манеры. Муся, когда что-нибудь происходило, начинала вот так же кричать, себя не помня. Особенно я помню последний скандал. Она меня ревновала к сестре одной, хотя уже собралась уйти от меня.

— К какой сестре? Я ее знаю?

— Нет. Откуда тебе знать. Из мухинской больницы. Муся пришла однажды. Мы сидели с этой сестрой в приемном покое и там свет внезапно погас. Мы свечку зажгли и чай пили. А сестра мне эта, Клавдия Ивановна ее звать, про свою жизнь рассказывала, на мать жаловалась. И тут Муся пришла за деньгами, у нас в тот день получка была. У нее ключ-гранка с собой и она без труда дверь открыла... — Николай Георгиевич помолчал, видно, решался, говорить дальше или нет.

— Что было, Верочка! Как она бесновалась и оскорбляла бедную эту Клаву! Бранными словами. Как она только ее не обзывала! И Клава вдруг заплакала.

— А ты что?

— Я сначала растерялся. Она так злобно и издевательски кричала на нее, что я просто опешил от неожиданности. А потом очнулся, когда Клава заплакала. Тут уже кто-то прибежал на крик из сестер. Словом, выгнал я ее попросту. "Убирайся вон!" — закричал и тоже обругал ее... Это как зараза, как ураган подхватывает и удержаться невозможно. Мне даже кажется, что в истерике неизбежно предполагается какой-то высший пункт беснования, и к нему человек рвется, к этому пункту, чтобы потом, наконец, скатиться вниз. И тогда спад начинается. Я своим больным всегда почти давал выкрикиваться до определенного момента. Да и они подсознательно рассчитывают на это.

— И ты жалел потом?

— Нет, никогда не жалел. Это не первый раз у нас было.

— А теперь жалеешь, раз вспомнил?

— Нет, Верочка.

Вера Дмитриевна тяжело вздохнула и положила руку на сердце.

— Ты что, Верочка? Я вижу, тебе нехорошо. Давай-ка укол сделаем. Напрасно ты уколов совсем избегаешь. Иногда можно сделать и отдохнуть от боли.

— Нет, попробую обойтись. Дай-ка мне вот ту

коробочку. Тяжело мне, Коленька. Так неожиданно вся эта история случилась и главное нет у меня сил сейчас... А ты иди туда, я отдыхать буду. А потом придешь?

— Постараюсь. Если не смогу, то позвоню обязательно, сегодня же.

## 8

Вере Дмитриевне стало хуже. Пока Тоня кричала, боль притаилась и ждала, что будет дальше. Если бы только ей промолчать, не сказать Тоне этих слов, не было бы такой яростной боли. Теперь же боль заняла собой все, что можно было, добралась и до колоколов и затопила их.

— Ты меня не желей больше. С тебя хватит уже, — сказала Настя.

Она знала, что у Веры Дмитриевны начался приступ. И все же сказала и сказала серьезно, даже строго, как взрослая. Вера Дмитриевна промолчала. Настя поняла, что она не хочет с ней говорить, и на цыпочках вышла из комнаты.

Мне пора собираться, уже совсем мало осталось, но я еще не начала уходить. А так уходить нельзя. Будто навечно здесь расположилась и еще вернусь. Пора собираться.

И она увидела себя сидящей на маленькой табуретке у нижнего ящика комода. Там лежали старые письма и фотографии. Она давно хотела их уничтожить, но не было сил встать. Да и как уничтожить, сжечь негде, а рвать — долго. Почему-то рядом

на полу сидит Тоня. Но не такая, как сегодня, располневшая, широкая в кости, а тоненькая девочка, похожая на Настю. Такой Тоню она видела на фотографии. Она стояла на трибуне школьного стадиона и Борис протянул ей огромный букет сирени.

А где же Коля? Неужели его не было на той фотографии? Надо спросить у Бориса.

Он умер, — сказала Тоня.

Боль вскрикнула теперь в самом сердце и видение исчезло.

Вера Дмитриевна испугалась — так сердце никогда не болело. Неужели все? Она положила таблетку под язык и опять закрыла глаза.

Земля еще держит меня, она так меня не отпустит, еще есть время, — уговаривала она себя. Надо только избыть свою вину.

— Ты прости меня, — говорила она тоненькой девочке, что сидит с ней рядом у нижнего ящика комода. — Я забыла о тебе.

— Не надо ничего говорить, — отвечает девочка Настиным голосом. — Ты неправильно жалеешь меня. Ты себя жалеешь, а не меня. Спаси нас от всякого гнева, — поет она тонким голосом.

Значит, она здесь.

— Ты здесь, Настя? — зовет Вера Дмитриевна и пробуждается от звука собственного голоса.

В окно стучатся ветви березы. Еле слышно стучатся и отходят, но она знает, что они здесь. Земля не отпускает меня от себя и посылает мне березовые ветви. А березовые рощи из окна движущее-

гося поезда кажутся кружевными белыми пеленами, накинутыми сверху.

Как жаль, что она никогда не бывала в березовых рощах и видела их только на картинах или измчающегося поезда. Они кружились как кружатся сейчас перед глазами белые хлопья.

Это боль все окончательно сдвинула изнутри и снаружи. И мир кружится. Он сошел со своей оси. Поэтому и невозможно прикрепиться мыслью к чему-нибудь одному, хоть на короткое время, все кружится. Лица, слова и вещи. Вещи тоже живые и у каждой своя натура. Только она не видна, она разместилась там, за пеленой видимого и только угадывается. Вещи тоже держат меня здесь на земле. И потому совсем невозможно оторваться хоть на миг от земли и стать маленькой точкой, а боль оставить здесь.

Тоня кричала потому, что в ней расколосась воля, расщепилась. А когда воля дробится, открываются шлюзы и тогда кровь выбрасывает надоевшие ей яды. Вот и со мной сейчас то же самое случилось — открылись шлюзы, воля не в силах бороться с болью. Потому что я выгнала ее.

Неужели на той фотографии не было Коли? Не забыть бы спросить у Бориса. Его не было, кажется, дома, когда кричала Тоня. Хорошо, что он не слышал.

Он любил ее и по ночам ждал во дворе ее дома. А она приходила не одна, а с Колей. Они не целовались тогда. Так Борис рассказывал. Коля пожимал ей руку и уходил. Тогда и Борис уходил вслед за ним.

”Я ходил до тех пор, пока однажды он не пошел к ней домой и не остался там до утра”. Борис смеется и закидывает голову почти как Матвей. Но глаза у него напуганные и влажные. Это от гнева, он сердится на Машу.

— Это ты во всем виновата, ты, ты, ты! Ты — просто элементарная сволочь! — кричит Борис, но Маши нет в комнате. Он кричит на Веру Дмитриевну. Но это не Борис, слава Богу, кричит. Это Матвей.

— Я не умер, слышишь, я жив. Не надейся. Я все помню. — Он подходит совсем близко и заносит руку. Он сейчас ударит ее и тогда случится что-то ужасное. Как он смеет бить ее? Разве у него есть такое право?

Он бьет ее по лицу, а она кричит. Отвратительно кричит, визжит как истеричка, и злые слезы душат ее.

— Ты не имеешь права! Ты пожалеешь об этом! Я отомщу тебе, мерзкая скотина! — кричит она и плюет ему в лицо. И хватает табуретку. Сейчас она ударит его. Он съеживается и закрывает голову руками. У него жалкое, напуганное лицо, а она смеется.

— А-а, испугался, трус, ничтожество! Уходи, чтобы духа твоего не было. Убирайся, ты — мразь! На твои облигации! Твои поганые деньги, документы. Вот я все приготовила, — она кидается к нижнему ящику комода и выбрасывает оттуда бумаги, достает пачку с облигациями, деньгами, письмами и хочет бросить ему под ноги.

Но его уже нет в комнате. Она хватается пачку и бежит за ним по лестнице и кричит:

— Мотя! Подожди!

Вера Дмитриевна еще во сне понимает, что это — кошмар и от него надо избавиться, она силится проснуться, но не может поднять век. Ей кажется теперь, что она ослепла, что глаза ее покрылись корой и ничего не видят, и она просит Машу:

— Позови Николая Георгиевича.

Маша молчит, она здесь в комнате, но не хочет отзываться. Это тоже неправда, это тоже кошмар, — мелькает в сознании и Вера Дмитриевна просит:

— Господи, помоги мне!

Теперь она открывает глаза. Боль чуть-чуть притихла, она еще живет в ней полновластной жизнью, но словно приустала и потому не резко, а монотонно пилит.

Больше спать нельзя, решает Вера Дмитриевна и старается подняться на подушках.

Как странно сны воспроизводят бывшее, и то, чего не было, чего мы боимся. Особенно в болезни. Это — тайная жизнь души, то, что душа знает есть там, за границей, за покровом. То, что не совершилось, но могло совершиться. А может, как раз то, что было задумано о нас, но мы избегли этого своей доброй волей.

Матвей ей снился редко. Вера Дмитриевна всегда просила в молитвах простить ее за Матвея. И наверное поэтому в тех редких снах он примирялся с ней. И только сегодня впервые крикнул ей, что помнит все.



Так почти все и было перед уходом Матвея. И облигации и поганые деньги швыряла она ему под ноги. И мстила оскорблениями за подозрения, слежку и ревность. А он замахивался на нее и ударил. Тогда она схватила не табуретку, а стул, и хотела бросить в него. Он испугался и выбежал вон.

Вера Дмитриевна не смеялась, увидев его испуг. Она ненавидела его за то, что он ударил ее. В этой ненависти испепелилось все, что было у них, и страх за Машу, что останется без отца, и боязнь одиночества, и многолетняя привычка к нему.

Он ушел тогда насовсем и вскоре женился. Там тоже родилась дочь.

Вера Дмитриевна видела ее на похоронах Матвея.

Гроб стоял в зале какого-то дома культуры. Из репродуктора слышались траурные мелодии, прерывающиеся стихами Маяковского. "И жить хорошо! И жизнь хороша..." — услышала она вдруг, очнувшись от своих мыслей, и поняла, что стихи читает Матвей.

"— Зачем это?" — спросила она у его сестры, стоявшей рядом.

Она прошептала, что Мотя очень любил Маяковского и часто читал его на вечерах как раз в этом доме культуры, где он долго состоял членом самодеятельной театральной студии.

Дочери его тогда было лет десять. Ее подвели к гробу, она боялась глядеть на отца и смотрела себе под ноги. Вера Дмитриевна не могла рассмотреть ее глаз.

”Зачем они ее привели”, — подумала она и тут же увидела, как Маша взяла сестру за руку и вышла с ней из зала. Послышался женский плач и шепот: ”сестра, дочь его старшая”.

Жена Матвея зарыдала, увидев, как Маша, обняв за плечи девочку, увела ее. Вере Дмитриевне рассказывали, что жена Матвея ревновала к Маше и часто скандалила из-за его визитов к ней.

Неужели она была счастлива с ним? Он был старше Веры Дмитриевны, а эта женщина, видно, не намного старше Маши. Говорят, что он стеснялся своего возраста, молодился и скрывал свои недуги. И за год перед смертью не раз говорил, что всю жизнь любил только Веру.

Самой Вере Дмитриевне он ничего подобного после своего ухода не говорил, да и не мог говорить, слишком деловыми были их отношения. Вначале они говорили только о воспитании Маши, а когда Маша поступила в институт, они и вовсе перестали видеться. И только перед самой смертью он пришел неожиданно, без звонка.

”— Мимо проходил и зашел, сегодня почему-то весь день думаю о тебе. Мне сказали, что ты работу бросила и вообще... — сказал смущенно, когда прошел на кухню. — Маши и Бори нет?”

”— На работе. А кто тебе сказал? И что значит вообще?”

”— Неважно кто. А это ты сама знаешь... Да, а правда, что Николай Дьяков в церкви служит и тоже ушел из больницы? Он кажется был главврачом?”

— И это ты знаешь? Правда. Но не главврачом”.

Она замолчала и ждала еще вопросов. И дождалась.

— И ты тоже в церковь пойдешь служить?” — сказал он и усмехнулся.

— Пошла бы. А что?”

— Смотри как бы Машу и Борю с работы не поперли. Еще фельетон схлопочешь. Насчет секты и молитвенных домов у нас любят. Ты и Дьяков, о вас где-то говорили на собрании. Он будто бы из партии вышел, билет свой отдал”.

— Отдал. Ты только это хочешь узнать? За этим пришел?”

— Тревожусь я за вас. За Машу и за тебя. Вот и пришел. Не хочу беды тебе, время крутое. И еще... Слышал, что вы венчаться собрались?” — он посмотрел вопросительно на Веру Дмитриевну. Он впервые посмотрел на нее и ей увиделись в его глазах детское смущение сначала, а потом такая мука, что она отвела взгляд.

— Нет. Это — ложь. Сплетня. Старая я уже. А ты как? Как дочь твоя? Сколько ей лет?”

— Все в порядке у меня. Скоро десять. Тебе деньги нужны?”

— Нет”.

— Нужны. Я знаю. Ты без работы. Возьми у меня. Я очень, очень прошу тебя”.

— Нет, Мотя. У меня все есть. Спасибо”.

— Ну смотри. Если что... В общем зря ты не хочешь. Обещай, что позвонишь и скажешь. Обещаешь?”

”— Обещаю. Не беспокойся. Ты здоров?”

”— Ничего. О болезнях говорить не буду. Скучная материя”.

Больше они не виделись. Он внезапно поднялся тогда и ушел, не оглядываясь. Раньше, когда они вместе жили, он всегда оглядывался, когда уходил от нее, где бы они ни расставались. Смотрел ей в лицо, хотел прочесть, что она о нем думает.

Ему всегда было важно, что думают о нем и лицо его было готово в любую минуту засвидетельствовать о преимуществе перед другими.

Оно почти никогда не отдыхало от этих хлопот и стершаяся от времени маска ничуть не меняла своих линий.

Матвей не любил неудачников, тех, кто по его мнению, не умел пользоваться радостями жизни. Он просто не понимал их. Ни тех, кто в силу рабства у житейских обстоятельств не знал радости, ни тех, кто знал иные радости, неподвластные житейским обстоятельствам. И те, и другие представлялись Матвею скучными людьми. Они, по его убеждению, не умели жить. Жить значило считать минуты, не теряя ни одной для того, чтобы как можно больше взять для себя. Взять у тех, кто попадался, а отдавать ровно столько, сколько надо, чтобы получить то, что требовалось ему. Но отдавать обязательно так, чтобы все, кому надо, видели и знали, что он отдает. И от этого тоже он получал удовольствие, о его добре знали, значит его преимущество было замечено. Значит ему было нескучно.

Всю жизнь он бежал от скуки, а она настигала

его и схватка их длилась, по-видимому, до самого финала.

Матвей не мог даже предположить, что самое скучное на свете — это любовь к себе. И не мог понять, почему ему так скучно и почему он так бежал от скуки. Он носил ее в себе.

Однообразие греха побуждает к изобретательности и люди, боясь своего последнего часа, хотят как можно веселей пожить. Веселей, раз уж все равно умирать.

”Мне скучно, мама, посиди со мной”, — часто говорила Маша в детстве. Она еще не умела оставаться с миром и с собой, ей нужны были посредники.

Нужны они были и Матвею и ей, Вере Дмитриевне, тоже. Ее тоже мучала скука. А Матвей ревновал к этим посредникам. И больше всего к Мише, догадываясь, что ей с ним не так скучно, как с ним.

Ей тогда и в самом деле казалось, что с Мишей интересно. Интересно и значило не скучно.

Теперь она оценила пронзительную точность высказанного одним из церковных писателей замечания: время — деньги вечности. Тогда же она думала, так же как Матвей, что тратить время, не замечая трат, тратить не в скуке, а с интересом — самое главное. Для этого и надо предпочитать того, кто сам боится скуки и с кем нескучно. Ведь все равно часы беспощадно отсчитывают время и последнего часа никому не избежать. Как невозможно остановить мгновение. Она не знала, что это возможно, более

того, что каждое мгновение оставлено в памяти сердца и в памяти Божьей.

И в этой общей памяти каждое мгновение обнажает свой смысл, не ту плоскую поверхность, увиденную и почувствованную осязанием плоти и внешним зрением, а смысл, выраженный в отношении к вечности, к последнему часу, как к первому часу той жизни, что Настя называет главной.

И наверное потому все то нескучное видится теперь Вере Дмитриевне монотонной и вялотекущей кинолентой. Будто ее сначала делали, а теперь показывают ей ленивые и безразличные люди.

Боже мой, как похожи все побеги ее от себя в интересное и нескучное, похожи мерзостью безлюбья, сиротством и заброшенностью, которые никак еще не осознаются как богооставленность, а значит невенчанность и оттого оборачиваются хищнической жадой захвата.

Захватить, получить для того, чтобы уцелеть. Состояние это всегда обозначалось напряжением плоти, оно и придавало особенное выражение лицам — Вера Дмитриевна и раньше замечала эту маску на своем лице и на лицах других. Независимо от формы и красок маска эта была однообразна — владелец ее слушал свою утробу. У отца эта маска совсем закрыла лицо и только перед смертью сошла с него и на лице его отразилось удивление.

Он удивился каким-то проникновениям и вспомнил, наверное, что знал их когда-то. Проникновения Божественных лучей всегда оставляют на

лица улыбку и покой, поэтому лица мертвых так удивленно-спокойны.

Мерзость безлюбья и сердечное запустение тянули к земле.

Они лежали на полу, на траве, на кроватях, не лежали, а валялись, прижатые к низкой, самой первой поверхности земли, не ощущая ее тепла и не получая от нее силы для нежности, а используя лишь ее плоскость. Валялись, монотонно твердя одно и то же, укачиваясь от этой монотонности.

Иногда вдруг искорка нежности согревала сухие их сердца и тогда их пронзала томительная догадка о том, что им завещана совсем не однообразная монотонность греха, а нежность и жалость, вырастающие до любви.

Они поднимались с кроватей, с травы, с пола и неутоленность казалась скукой, скука набивала оскмину и они кидались в другие кровати. И земля становилась поверхностью, предназначенной для того, чтобы держать на себе кровати, полы и травы.

Но с Мишей земля становилась пленницей, послушно открывающей свои простенькие тайны, отступая перед властью его ума.

Еще школьницей, познакомившись с Мишей, Вера впервые узнала острую зависть к всемогущему мужскому интеллекту. Миша был тогда студентом и ему, как и Коле Звягинцеву, прочили блестящую научную карьеру. Что-то было, оказывается, в них общее. Ну да, конечно же, веселая наглость ума, посчитавшего себя с самого своего рож-

дения зрелым, презрение к тайне и рационализм бухгалтеров, прикинувшихся Эйнштейнами.

Техническое образование Миши не ограничивало его познаний — он, помнится Вере Дмитриевне, самоуверенно, не без барской нарочитой лени, придававшей ему особый шик, втягивался в споры обо всем — о литературе, музыке и прочем. Не говоря уже об естественных знаниях. Тут он был богом. Он и с ней, студенткой мединститута, спорил о психиатрии и терапии, только в своей терминологии она чувствовала себя хозяйкой. О, власть ума, всезнающего, разгадывающего любые секреты! Женщина рядом с красотой такого интеллекта кажется маленькой нищей глупышкой, Золушкой, потерявшей туфельку без надежды обрести ее.

Матвей ни к кому так не ревновал ее, как к Мише. Знал, что не может соперничать с ним, думая, что она вышла за него, убежав в очередной раз от Миши.

Она еще несколько раз бегала от Миши, а потом возвращалась. И вот как-то вернувшись к нему, впервые засомневалась в красоте и силе его ума и не огорчилась этой потере. Не огорчилась потому, что услышала предчувствие нежности. Но Мише это было ни к чему, он был занят. Он разоблачал тайны земли и неба и перешел, видимо, в последний период своего путешествия по плоскости земли. Но это Вера Дмитриевна поняла через много лет.

Она жила тогда в курортном городе, вырвавшись туда случайно, после ухода из больницы. В полупустой гостинице ей легко достался отдельный



маленький номер с балконом на море. Весеннее море было беспокойным, ежедневно переполнялось ливнями и утихало к утру, когда дождь уставал и уступал место туману. Туман заливал город до самой земли густым молоком, но держался в нем недолго и уходил в горы.

Через несколько дней после приезда она встретила в вестибюле гостиницы Мишу с женщиной. Милое лицо ее было знакомо Вере Дмитриевне, она вспомнила, как Галя, так звали спутницу Миши, приходила к ней с просьбой посмотреть ее мать.

Вера Дмитриевна обрадовалась им, как родным людям, встреченным на чужбине. Они не виделись с Мишей давно и оба не чувствовали никакой нужды в общении, но здесь в незнакомом городе были рады друг другу. Галя любила слушать Веру Дмитриевну и задавала ей десятки вопросов, в основном о болезнях и лекарствах.

Но вот однажды утром — Вера Дмитриевна помнит это утро хорошо — она, придя к ним в номер пить кофе, заговорила о Боге. До сих пор они с Мишей только ходили вокруг этой темы, словно боясь обжечься, он знал, конечно, о ее обращении, но не хотел обнаруживать свое знание. Не хотел и все же нет-нет, да заводил осторожно разговор о церкви, о богатстве священников (у них по две машины). Она тогда слушала безучастно, ей неинтересно было оспаривать эти сплетни — две, так две машины.

И только теперь она решила начать этот разговор — наверное, солнечное утро и сверкающее

золотыми блестками море, заполнившая ее праздничная радость и благодарность Творцу за красоту сотворенного мира, побудили ее к этому разговору.

Она и повела его, ни на секунду не сомневаясь в том, что разговор этот примут. Настолько очевидным было присутствие Бога в мире в ту минуту, когда она заговорила о нем, что не заметить это могли только слепые и глухие. И вдруг в самом же начале, ее жажда одарить была встречена взрывом раздражения.

— Я не знаю этих слов, что такое благодать, объясни-ка поточнее! О чем ты говоришь? Надо бы объяснить это в рациональных категориях. Иначе это — пустые звуки. Для меня лично это — галиматья, труха, за которой нет ничего, — у Миши недоуменно подняты брови и голос такой спокойный, бархатный баритон.

Этого не может быть! — не верит она. Этого просто не может быть! И она берет себя в руки и начинает терпеливо объяснять. Однако бархатный баритон и холеное, но уже обрюзгшее лицо, не желают слушать ее. Какие могут быть незарегистрированные новейшими приборами энергии, что же такое в научном смысле благодать — не рефракция же? О чем идет речь в двадцатом веке в эпоху научной революции? Темнота и невежество, называемое мистикой, развенчаны наукой.

Вот и все.

Солнце не померкло и море все так же ловило зайчики лучей и отдавало их обратно солнцу. Нет, поток радости, затоплявшей сотворенный мир, не

иссякал. Солнце по щедрости и любви Божьей светит всем, и верующим в Него, и проклинаящим. На этом терпении Бога держится мир и не сходит со своей оси. Иначе бы мир перевернулся от ненависти Веры Дмитриевны.

Ненависть обожгла ее в ту минуту, когда она увидела его сытое и брезгливое, тронутое тлением лицо. И вспомнила его рассказы во время их недавних прогулок вдоль моря.

Они давно не виделись и она ничего не знала о его жизни. Думала, что и он должен был пройти своим путем в ту сторону, куда прошла она. Ведь они были связаны бедой России, годами вместе прожитой жизни, сотнями часов, потраченных на пиры ума. Она ничуть не сомневалась в их неизгладимой близости, понимая его слабости и прощая их ему. Ей и Галя эта нравилась потому, что она нравилась ему.

А он рассказывал им с Галей о пирах. Но это были уже не пиры самодовольных умов, умы устали, а чувственность, хотя тоже надорвалась уже, но все же напоминала о себе. Совсем не устали пока только желудки.

И вот три сюжета.

*Сюжет первый.* — Мы живем в Леселидзе. У бабы Нади. Рядом с клубничным полем. Выйдешь до ветру, набьешь рот клубникой и снова спишь. Или со сметаной шарахнешь по глубокой тарелке этой клубники и на море. По дороге ошарашишь стакана два молодого вина — маджари называется. Ну, что ты! — губы его вытягиваются в трубочку, а по-

том шумно причмокивают. — У дяди Васи, он вино делает, мы бидонами брали, а он нам продавал со скидкой, раз оптом. А потом с моря идем, еще хватим по стакашке. И обедаем. Баба Надя готовит. А продукты мы ей возим. Три машины — у Пчелкина, у Глезера и моя. Мы по очереди за продуктами, дежурство установили. Так, что каждый — раз в неделю. А после обеда, когда самая жара, мы на родничок в горы топаем. Там прохладно. Можно в карты поиграть или книжку почитать. Иногда вместо обеда шашлычок там замастырим. Мясо заранее намаринуем и на родничок...

*Сюжет второй.* — Однажды на родник, куда мы уходили после обеда, мы притащили огромный бидон сметаны. И водки бутылок пять или того больше. Это Глезер придумал, ему патент мы выдали. Ты пила, Веруня, водку со сметаной? Нет, это не то, что коньяк со сливками или пиво со сметаной. — Глаза его щурятся весело. — Водка со сметаной — это вещь! Полстакана водки и стакан сметаны. И больше никакой закуски. Брюху не тяжело, опьянение легкое. А сметана смягчает ощущение сивухи. И наконец...

*Сюжет третий.* — Ты говоришь, я располнел. Но это ничего, я всегда худею к концу лета, когда в Прибалтику ездим. Лето я всегда там заканчиваю. В Леселидзе начинаю, в Прибалтике завершаю. Там на лесных озерах в Эстонии у нас местечко есть — будь здоров! Туда только на машинах можно попасть. Недалеко от городка Вильянди. Кстати, там роскошная коммиссионка, много шмуток заграничных быва-

ет, у эстонцев ведь полно родственников в Швеции, Канаде, Финляндии. Да, так вот, соберемся мы на двух, трех машинах. Пчелкина мы на озера не берем, потому что без баб туда ездим, а его жена одного не отпускает. Мы с Глезером обязательно и еще Варежкин с нами, замдекана наш. Там хутор недалеко от нашей стоянки, на хуторе тетя Марта — творог у нее берем, сметану, яички из-под курочек. Она хлеб печет. Настоящий эстонский сеппик, для желудка очень полезен, и вкусный. Цыплят тоже у нее покупаем и на костре их, на вертеле. Пальчики оближешь! Молоденькие цыплята, лучше любых ресторанных "табака". А потом на рыбную ловлю. Вот таких сазанов брали и судаков. Наваришь тройную уху и под водку, ой, что ты-ы! А когда грибы пойдут, там леса, что надо. Мы и сушим и жарим их, и в уху кладем и рыбу ими шпигуем и шашлык из них вместе с рыбой выпекаем. Я, знаешь, как готовить наострился по холостяцкой жизни своей. Могу тебе десятки рецептов выдать. Вот там по грибы находишься, понаклоняешься, ища их, голубчиков, брюхо и сбросишь. — Он погладил себя по вздутому животу.

Вера Дмитриевна слушала его тогда спокойно, с интересом. Ну любит человек поесть, что здесь такого, очень часто с возрастом возникает это пристрастие. Начнет болеть и научится поневоле преодолевать эту слабость. Правда, не у всех это получается, вот отец ее не мог ограничивать себя. Оттого, вся старость его прошла в постоянных болезнях. Ему скучно было без явств и он тратил большую

часть своего времени на добычу их. И обижался, если она упрекала его в этом.

— У меня никаких больше радостей нет”, — отвечал он и глаза его гневались.

У отца, так же, как и у нее, была тяжелая плоть. Вера Дмитриевна различала людей с тяжелой и легкой плотью. Тяжелая была капризной и властной, она преодолевалась с трудом и, если не валяться на плоскости земли, то питать ее обильно, следовало непременно. А у Миши, как ей когда-то казалось, была легкая плоть, наверное потому, что в нем тогда все было для меня идеальным, — отмечала она про себя, слушая его *сюжеты*.

Теперь она слышала их еще раз в издевательски-раздраженном презрении к ее вере. Она слышала гремющую музыку самозащиты, которая должна была покрыть благодатную тихую музыку, Настину незамысловатую песенку.

Ну, конечно же, Миша защищал себя, свои сюжеты и прежде всего *имение* свое.

О, как банален, как до неправды пошл был финал их многолетней драмы! Преуспевающий пожилой профессор на курорте с молоденькой любовницей. Он встречает свою бывшую любовь, тоже пожилую женщину. И оказывается...

Что оказывается? Что он — пошляк, мещанин, развевшийся и разбогатевший на несправедном богатстве — на лжи? Но позвольте, он — не журналист, не писатель и не кинорежиссер, при чем здесь ложь, он не торгует истиной, как люди так называемых свободных профессий.

Он — чистый человек, у него чистое дело, он — представитель технической интеллигенции, мозговой элиты, не имеющей никакого отношения к идеологии. У нас — своя компания, у них — своя. И богатство его — машина, заграничные товары из комиссионного магазина — не краденое, а заработанное честным трудом — усилиями "высокоорганизованной материи", как он называет свой мозг. Не то, что у тех, кто торгует словом.

Это он сказал, Миша, гордясь своей чистотой. Презируя тех, других воров. И презируя тех, у кого они воруют. Правда, и он был членом правящей партии и хотя не одобрял эту партию, но и Бога не одобрял тоже.

— Еще неизвестно, не Он ли, не Христос основал коммунизм! — крикнул он свой последний аргумент. Аргумент должен был оспорить мысль Веры Дмитриевны об атеизме, как высшем проявлении безнравственности.

Эта последняя фраза его, этот самый последний аргумент и виноват в том, что произошло дальше.

— Ах, вот как! Христос виноват! А ты кто? Ты — поборник свободы, смеющийся над Богом, даровавшим свободу, оснащаешь приборами танки и самолеты, для подавления свободы. Вот ваша чистота и элитарность! Вы такие же воры и казнокрады, как и те, кто торгует словом.

Она задохнулась. Это была высшая точка отчаяния. Не зря отчаяние почитается грехом.

"Механизм возмездия" и на сей раз сработал

незамедлительно. Всю ночь она болела от стыда. И когда стыд затапливал ее окончательно, она защищалась от него: "Бездарь! Человек без даров, кинувший их на помойку псам. Такие вот и закидывали камнями пророков и плевали в лицо Господу. Чистенькие посредственности, притворяющиеся аристократами духа. Звериное нутро вора, прелюбодея, который ничего не отдаст своего. Зачем ему Бог, если он произошел от обезьяны и сам — животное".

Нет, дьявол, шутишь! Слишком уж однообразны твои шутки!

Рассветало. Она встала и пошла к морю. На волнорезе стоял уже узбек в засаленном халате и розовой тюбетейке. О чем думал он, бедный нестяжатель, что он видел, вглядываясь в море? Его печальный силуэт успокоил Веру Дмитриевну.

Господи, как Ты любишь меня и чем я смогу отплатить Тебе за Твою любовь, за то, что Ты предусмотрел обо мне другое!

Научись сначала милосердию... Пожалей его! И Тоню пожалей...

Пожалей меня, я устал убивать, — кричал палач, тот, что стоял у прожектора.

## 9

Тот палач, что стоял у прожектора, лишь отдаленно напоминал реального палача, которого Вера Дмитриевна знала хорошо. Впрочем, она никогда прежде не называла палачом своего больного Петра Павловича Быкова. И только теперь в ее болезнен-



ных снах они почему-то слились воедино эти два существа — тот у прожектора и Петр Павлович.

Петр Павлович достался ей случайно, было летнее время, в отделении она оставалась одна и ей пришлось им заниматься. Обычно ведомственных больных (так называли врачи больных, в судьбах которых были заинтересованы карательные ведомства) вели те, которые пользовались особым доверием администрации.

Уже первая их беседа не понравилась Вере Дмитриевне.

— Ну, давайте заполнять вашу историю болезни. На что жалуетесь? От чего будем вас лечить?

— Я? Да ни на что, собственно. Сплю плохо, случается. Но ведь это вылечить нельзя. Хорошо спят дети и покойники.

— Что значит плохо? Плохо засыпаете или просыпаетесь среди ночи?

— Когда как. Иногда вообще уснуть не могу. Видения вижу. А если сильно выпью, чтобы уснуть, то обязательно через два-три часа проснусь. Интересно, что водка по-разному действует на разных людей. Отчего это?

Вера Дмитриевна заметила, что он не хотел отвечать на ее вопросы, а хотел сам спрашивать.

Мне некуда спешить, — уговаривала она себя, чтобы погасить несвойственное ей в общении с больными раздражение. Пожалуй, такое было впервые в ее практике: больной вызывал в ней неприязнь без всякого к тому повода, более того, она не чувствовала в нем больного. И вопросы ее были формаль-

ны, а он понимал это и тоже не хотел вступать в контакт.

Когда-то в институте Вера Дмитриевна пробовала учиться гипнозу, но безуспешно. Убедившись в бесперспективности метода подавления воли больного, она избрала другой путь — путь доверия к его воле. Важно было изменить ее направление, не подавить, подавление было все равно временной мерой и неизменно вело потом к осложнениям. Избегала она и подавляющих психику лекарств и потому лечила долго, дольше, чем ее коллеги, вызывая часто нарекания администрации. И все же то давнее и краткое увлечение гипнозом принесло свои плоды. Вера Дмитриевна всегда добивалась близости с больными, они верили и легко открывались ей.

Быков не хотел открываться. И она не могла понять, было ли это следствием болезни или защитой и выжиданием здорового.

Эта неясность, раздвоенность ее собственная, и, главное, сомнение в его болезни мешали Вере Дмитриевне. Но больше всего ей мешало, как вскоре она поняла, место его работы. Хотя в истории болезни оно было зашифровано: какое-то управление при каком-то управлении.

В их беседах они должны были избегать упоминания о его работе и это отличало Быкова от всех ее больных, с ними у нее не было запретных тем.

Возьму и спрошу в следующий раз, — решала она, — наверняка корень в том, чем он живет, иначе нельзя ничего понять. Но в следующий раз Быков

опять старался говорить о погоде, грибах, книгах и кинофильмах, и уходил от вопросов.

Он был начитан, говорил гладко, даже декламировал, свободно пользовался медицинской терминологией и вообще любил говорить. Это тоже раздражало Веру Дмитриевну, не раз ей приходила в голову мысль о допросах, которые он, возможно, вел с таким же стремлением продемонстрировать свое обаяние.

Иногда он даже кокетничал и говорил комплименты. А Вера Дмитриевна принимала все, как должное. Только в одном она позволила проявить свою власть — резко сократила продолжительность их бесед. И наконец в очередной раз, вызвав Петра Павловича к себе, измерив ему давление, спросила:

— Как спите?

Он ответил, как обычно:

— Благодарю вас, вашими молитвами лучше.

— Ну вот, раз так, скоро и домой пойдете. Продолжайте принимать то, что назначено. Кто там следующий ко мне? Позовите, пожалуйста.

Такого Быков не ждал. Глаза его на мгновение обиженно заметались, он взглянул на Веру Дмитриевну, на стул, с которого только что поднялся, застегивая рубашку, на дверь. Но тотчас взял себя в руки и вышел, сухо попрощавшись.

Это было накануне выходного дня, но ни в понедельник, ни во вторник Вера Дмитриевна не вызывала его. Дежурная сестра и санитарка, рассказывая о поведении больных в субботу и воскресенье, о Быкове ничего особенного не знали: днем в воскре-

сенье он звонил кому-то по телефону из кабинета врача.

— О чем шел разговор? — спросила Вера Дмитриевна. — Кто-нибудь был в кабинете? Сколько раз я просила не оставлять больных в кабинете одних!

— Я была, Вера Дмитриевна, — ответила сестра.

— Кому он звонил? Женщине? Мужчине?

— Наверное, мужчине. Говорил не больше минуты, и я почти ничего не поняла. Спросил, как дела. Потом спросил о ком-то, приехал тот или нет. Потом выполнил ли тот его просьбу. Потом сказал: ”— Ну, все ясно. Не можешь, значит не можешь”, — и повесил трубку. Пошутил со мной еще насчет яда. ”Вот вы здесь в кабинете сидите, а в процедурном яд без присмотра лежит”. И вышел. Он насчет яда всегда шутит, когда на укол приходит.

На следующий день он сам попросил во время обхода Веру Дмитриевну принять его. Она вызвала его в конце дня.

— Педагогика ваша действует эффективно. Но здесь она мало пригодна.

— Здравствуйте, Петр Павлович. Садитесь, пожалуйста. Никакая это не педагогика, я очень занята, у меня пятьдесят больных, целое отделение. Я не знала, что нужна вам.

— Вы всегда нужны нам. А вот мы вам не нужны, к сожалению.

— Рассказывайте, как себя чувствуете. Спали сегодня?

— Наверное, я спать нормально уже не буду никогда. Но есть же люди, газета какая-то писала, ко-

торые вообще не спят и ничего, живут себе, поживают... Это я себя так уговариваю. Раньше я злился по ночам на свою бессонницу. Хотел даже не раз голову об стенку разбить, а потом привык. Кстати сказать, я здесь у вас хуже сплю, чем дома. У вас тут почти что, как у... нас... Решетки на окнах, двери постоянно закрыты и сестры, как надзиратели следят. И доносят вам. Так ведь?

— Я у вас пока не была, слава Богу. Вы же говорили, что лучше стали спать!

— Чтобы вам приятное сделать. Да и сам я думал здесь отдохнуть. Но не выходит. Вы только не прогоняйте меня. Вам домой пора, да?

— Нет, с чего вы взяли? Я дежурю сегодня.

— Значит, у вас есть время? Нам надо решить сегодня мое дело. Только я прежде хочу пойти покурить. Можно?

— Курите здесь. Уже конец дня, никто не придет больше.

— Спасибо. Я вообще-то решил бросить курить. Так что это, наверное, моя последняя сигарета. Курение ослабляет волю. А мне сейчас нужно, чтобы она покрепче была. Вы, доктор, конечно, знаете, что я здоров, что расстройство сна у меня — не болезнь, а функциональное нарушение, а по сути — наказание. А если это — болезнь, то она неизлечима. Ну, принимаю я еще десять тысяч разных таблеток, которые на время будут выключать мое сознание, и я буду погружаться в короткое забытие. Но это ведь не сон. Сон — когда отдыхаешь и даже как-то обновляешься. Я же просыпаюсь усталый и разбитый. Луч-

ше уж не спать вовсе, чем так спать. А спать я не буду до тех пор, пока не вылечу себя сам. Вы не можете меня вылечить, вы — не Бог.

— Это уже совсем плохо. Лечиться у врача, которому не веришь — пустое дело.

— Нет, вы не обижайтесь. Я не о вас лично, я о медицине говорю. О психиатрии вашей. Она бессильна лечить тех, кто сам может лечиться, но не хочет.

— Почему же вы не лечились сами? Зачем пришли сюда?

— Пришел? Я не пришел. Кстати, вы уверены, что у вас нет записывающей аппаратуры в кабинете?

Начинается, — подумала Вера Дмитриевна и ничего не ответила. На провокации отвечать не буду, — решила она и вспомнила, что у них в больнице упорно говорили о том, что вскоре откроют отделение судебно-медицинской экспертизы. Может, решили благонадежность врачей проверить?

Быков встал, прошелся по кабинету, осматривая плинтусы возле весов и кушетки.

— Будем считать, что нет. Да и зачем ей здесь быть? Из-за меня? Вряд ли. Невелика шишка. Вы понимаете, конечно, Вера Дмитриевна, что я случайно сюда попал? У нас ведь свои больницы и свои психиатры имеются. Только я, предчувствуя такую возможность и не желая ее, специально попросил лечить меня в другом месте. Попросил того, кто смог сделать это. Но больше, боюсь я, он ничего не сможет. Теперь я один на один остался. И вы посреди нас оказались. Не боитесь?

— Чего мне бояться? Я ни в чем не замешана...

— Конечно. Я пошутил... Просто к вам обязательно придут или позвонят. Придут узнавать обо мне. О диагнозе. Ждите. Я был неосторожен и кое-кому стало известно о моих замыслах. Вот и результат. В нашем доме все должны быть один к одному, а если что не так, значит или враг, или сумасшедший. Лучше, конечно, как вы понимаете, быть сумасшедшим в такой ситуации. Или нет? Как вы считаете? Я сам еще не решил. Хочу с вами посоветоваться.

— Я таких советов не даю. Только медицинские.

— Понятно. Я и не рассчитываю на вас. Я только хочу вам объяснить что к чему. Если вы не торопитесь.

— Не тороплюсь, — сказала Вера Дмитриевна и пожалела. Ее охватил озноб, щеки и уши горели.

— Я здоров, как вы понимаете, конечно, и мне нельзя распускаться, ибо я должен выполнить свою миссию. Вы знаете, что такое распушенность и чем она отличается от болезни? Это понимают редкие люди. Те в основном, кто сам был распушенным и кому Бог вовремя помог избавиться от этого. Другие не знают этой разницы. Вот, алкоголизм, например, болезнь или распушенность? Распушенность бывает в разных стадиях. Я лягу сейчас на пол и буду кричать и стучать ногами. Сначала мне будет стыдно, а потом я привыкну, что возле меня мечутся, вливают мне в рот успокаивающие капли и боятся, как бы я снова не стал сучить ногами и закатывать глаза. Мне захочется с определенной периодичностью па-

дать на пол, к этому привыкнут другие и будут с трепетом ждать моего падения. Это не жестокость, я знаю, что вы думаете иначе, что вы полны жалости к людям, а меня считаете жестоким. Я, знаете ли, и не такое видел. Знаете, как ведут себя люди перед смертью? Перед расстрелом? Вы — врач и, наверное, видели смерть. Но дело не в этом... Я о другом должен рассказать. Знаете, Вера Дмитриевна, что есть последние вещи? Ну смерть, например, последняя вещь или нет?

— Я не понимаю, о чем вы. В каком-то смысле последняя.

— Вот именно в каком-то смысле последняя, в каком-то, а в каком, неизвестно. А вот убийство — последняя вещь. И она тоже, как ни удивительно, тоже следствие распушенности. Распушенность это — когда все себе позволяешь. И здесь уже дьявол тут как тут. Вы верите в дьявола? Конечно, не верите. Я по вашей улыбке вижу. А напрасно. Я тоже не верил.

— При чем здесь дьявол, Петр Павлович! Согласитесь, что вы позволяете себе крайние суждения для здорового человека!

— Правильно, крайние. Дьявол — это одна из крайностей и самых труднообъяснимых вещей на свете. Бога, куда яснее и проще объяснить и понять. И все же я попытаюсь вам объяснить, что это такое. Когда-то в юности я был комсомольским вождем. Тогда я был знаком с одной девушкой, которую хотел взять в жены. Но она предпочла другого и это сыграло роковую роль в моей судьбе. Я согласился



принять назначение, чтобы уехать из города и забыть ее. И пошел к ней прощаться. Ее не оказалось дома, двери мне открыл какой-то парень и пригласил меня в дом. Это был ее сводный брат, или как это называется, словом, сын отца от первого брака. И получилось так, что мы с ним проговорили всю ночь. Он и рассказал мне о дьяволе. Нет, зря вы так смотрите. Не верите? Думаете, небось, что это — навязчивая идея? Это — правда. Только очень странная правда, почти необъяснимая. Но вы знаете, я ведь тогда, видно, понял того парня, только выяснилось, это через очень много лет. Запомнил его, а тогда злился на него и кричал, что он — враг, и его надо расстрелять. А он улыбался и говорил:

— Ну чего ты сердишься, ведь я тебе пожаловаться на себя хочу”.

— Я тоже думал, что он — псих, ведь он верил в Бога. Это меня больше всего разозлило. Он был моим ровесником. Да не темный невежественный мужик, а интеллигент, философ. Конечно, псих, но странный псих, не буйный, а тихий.

— Дурак ты, псих, какой там дьявол, где он, что ты выдумал! Покажи мне его!” — кричу я ему. А он печально улыбается и терпеливо объясняет:

— Вот смотри, ты хочешь не думать или не делать того-то, ну возьми самое простое — ты хочешь перестать считать себя лучше какого-нибудь мерзавца и думать о том, что мерзавец тоже просто слабый человек и вот ты уже теоретически это решил, уговорил себя, а завтра ты встречаешься с этим самым мерзавцем и не успел он еще что-то сказать,

как ты вспоминаешь, что он мерзавец и пропало дело, дьявол тут как тут. Пролез в щель, в узкую щель. Надо не оставлять этой щели и все время гнать его своей волей, как стулья сдвигать друг к другу тесно, чтобы щели меж ними не оставалось”.

— Я ничего не понял, почему нельзя мерзавца считать мерзавцем? Но стулья почему-то запомнил на всю жизнь.

”— Мерзавца стрелять надо! А не считать лучше”, — ответил я ему.

А он:

”— Вот, вот. Стрелять. Потому что ты себя лучше считаешь, значит и суд можешь вершить. Этого дьявол только и добивается, чтобы я убийцей стал и тогда все...”

Так он мне все и предсказал. И вот скажите, почему я о нем вспомнил? Это тридцать лет назад было! Сколько я с тех пор людей видел, сколько разговоров слышал! Почему этого психа и стулья его помню? И еще одно он тогда сказал: ”— Стулья сдвигать никогда не поздно, но может наступить время, когда не будет уже ни времени, ни сил их поднять...”

— Вот, доктор, не правда ли, интересная история?

— Интересная, бесспорно. Ну и что же, вы сдвигали эти стулья?

— Нет. У меня не было времени. И щель превратилась в бездну.

— Это уже почти стихи...

— Зря вы иронизируете...

— Вы не поняли меня. Я действительно приняла это за стихи.

— Ну, ну... Будем считать, что действительно. Но я еще не закончил. Понимаете, дьяволу труднее в тебе орудовать, когда ты его выслеживаешь. Люди ведь тоже теряются от слежки. Он тоже не любит слежки. Когда стулья в ряд сдвигаешь. И еще когда рассказываешь о нем кому-нибудь. Вот парень тот мне, чужому, тогда не зря все рассказал. Его нельзя одному победить, помощь нужна. И не лекарства. Лекарства он любит, они усыпляют желание сдвигать стулья. Я по себе это знаю. Кстати, из-за этого парня я книги стал читать, хотел еще раз встретиться и поспорить. Я, наверное, всю жизнь с ним спорил, слишком он разозлил меня тогда своей свободой, непонятной мне, и тихой печалью, которую ничем возмутить нельзя было. Я даже искал его не раз, но не нашел. Видно, его нет в живых. Он евреем был — или наши убили или немцы.

Быков вопросительно посмотрел на Веру Дмитриевну, но она промолчала. Он еще раз прошелся по комнате и заглянул за кушетку.

— Чисто у вас там. Ни пылинки. Я тоже чисто-ту люблю. В тюрьмах не так чисто, — он горько усмехнулся. — Вот и выбирай где лучше — здесь или там. Иного, пожалуй, мне не положено. Догнал он меня. Но вы, Вера Дмитриевна, ему не поддавайтесь. Вернее, им. Они еще к вам придут. Я им фактически не нужен. Но и... свидетель не нужен. Пусть он станет сумасшедшим, упрятать его и все дела. Мало что ли таких, как я, по больницам сидит... А я здоров,

абсолютно здоров. И все мои расстройства чисто функционального характера.

— Вы уже и диагноз мне диктуете.

Эта фраза была лишней, подумала Вера Дмитриевна, увидев, как потемнели его глаза.

— Простите, я не хотел вас обидеть. Моя миссия требует иного поведения, но дьявол мешает мне, как обычно, — он улыбнулся, встал и поклонился ей. — Я пойду. Я не нужен вам больше, не так ли?

Как она устала от этого разговора! Казалось, конца не будет этой вязкой паутине, этой изощренной лжи! Там все было намешано понемногу: и угрозы, и провокации, и нарочитые симптомы, и явный бред... Мнимая интеллигентность изощренного убийцы, не забывающего напомнить о тюрьме, где не так чисто, как в больнице. И о книгах не забыл, и вся эта чушь о дьяволе — умело сочиненная история. Пора кончать с ним, действует он на нее отвратительно, вызывая в ней какой-то липкий страх. Пора. Диагноз почти ясен: маниакально-депрессивный психоз, страхи, навязчивости, уверенность в своей миссии — как это он еще не рассказал о ней? В общем, все симптомы налицо. Явный бред! Закономерный результат гнусно прожитой жизни, и она ничем не может помочь ему, убийцам мы не сочувствуем, извольте сами лечиться, тем более, что вы сами и вызвались. И сдвигайте себе свои стулья на здоровье без нас!

Хорошо было бы поскорей выписать его и избавиться от этой вязкой паутины лживого раскаяния. Но придется еще разговаривать с ним и притворяться.

В следующий раз он рассказал, в чем состоит его миссия: написать историю своей жизни, подлинный документ оставить. Он начал уже писать, но имел неосторожность кое-кому прочитать написанное. Женщине одной и старому товарищу.

— Так я стал социально-опасным. Новый вид психического заболевания, причем в существовании этого вида уверены не только обыватели, но и врачи. Это открытие в медицине отечественных психиатров. Странно, что до сих пор им не дали государственную премию. Неадаптабельность социальная, так, кажется, называется? Тоже, заметьте себе, открытие дьявола, как и убийство. А знаете, почему я не хотел долго уходить со своей работы, хотя вполне мог это сделать? И даже долго гордился ею. Из-за чувства самодовольства. Во-первых, мне доверили и надо оправдать доверие. Это самая первая ступень самодовольства, во-вторых, ненависть к врагам, которые хотели погубить мою родину и меня в том числе. Вторая ступень — самозащита. И, наконец, высшая и самая опасная, плавно вытекающая из тех двух — нежелание потерять имущество, которое, я уверен в этом, по справедливости дается мне за мою работу. Мысль об имуществе дьявол внушает не сразу, для этого надо подготовить в человеке сначала самодовольство. И когда он уже уверен в своем законном праве *иметь*, можно легко воспитать в нем страх потерять свое и жажду самозащиты и жажду защиты своего имущества. И здесь ты уже принадлежишь ему весь, без остатка. Этот путь давно проторен — от романтизма к реализму.

му. Романтика самозащиты — самая любимая дьяволом игра. В нее со времен Иуды редкие не включались — все равно ведь гроб с музыкой, чего уж тут? Значит, надо прожить получше для себя. Все позволено, как говорил Карамазов. Вопрос вопросов. Дьявол хохочет. Вы слышали, как он хохочет? Тихо так поскрипывает в тебе, сквозь стулья продирается.

Маниакальный бред, — не сомневалась Вера Дмитриевна. Она опустила глаза, стала рассматривать свою руку, заусеницу на пальце. А Быков продолжал увлеченно звенящим высоким голосом:

— Раз ты хочешь иметь и уверен в своем праве иметь, ты будешь иметь. Любой ценой, а значит и ценой убийства. И вот ты уже убиваешь человека, чтобы себе лучше сделать. Тридцать сребреников — роковое имущество за продажу Бога. Но с иудиних времен плата за продажу души увеличилась — много денег напечатали.

Он выделял слова, важные для него, и повторял их по два-три раза. Вера Дмитриевна слушала его с неприязнью. Типичный иезуит, нашла она ему определение, и вдруг представила помимо своей воли, как он стоит с пистолетом и стреляет кому-то в затылок. Кому-то, кто стоит, отвернувшись к стене, чуть наклонив трепетно плечи и ждет его выстрела.

Нет, он явно болен, отсюда такое бесстыдство. Да, неужели он сам расстреливал и теперь так спокойно толкует о каком-то дьяволе? Боже мой, что только не рождается в больном сознании! Он болен, конечно же, болен! Как она могла считать его симу-

лянтон! Это из-за страха. Надо показать его Олимпиаде, чтобы была вторая подпись — экспертизу провести, чин по чину. И как можно скорее.

Но Вера Дмитриевна не успела это сделать до того, как сбылись его предсказания. К ней пришел посетитель справиться о ходе лечения Быкова. Из его вопросов явствовало, что сослуживцы Быкова волнуются о нем и ничуть не сомневаются в неизлечимости Быкова, и потому так сочувствуют ему. Для них это редчайший случай, ведь у них работают люди абсолютно здоровые. По-видимому, он должен будет после экспертизы поступить в другой стационар на длительное лечение, хотя надежды, повторил он, на излечение по-видимому нет. Но чтобы не было ухудшения. Ему оформят приличную пенсию и он сможет существовать вполне сносно. К тому же ведомство всегда оказывает своим сотрудникам, ушедшим на пенсию, помощь: лечение, путевки и прочее...

Это все Вера Дмитриевна вспомнила потом, но в какой последовательности шел их разговор, припомнить не смогла. Первые минуты их беседы изгладились вообще из памяти: они словно бы захлебнулись в страхе, она не помнила ни как вошел этот посетитель, ни его имени, которое он, конечно же, называл, ни как он сел и что сказал вначале. Помнила она только, что приказывала себе молчать, сразу же подумав о провокациях.

Через несколько минут она, видимо, успокоилась и с любопытством стала смотреть на своего собеседника, пытаясь разгадать, провоцирует он ее или

просто приказывает считать Быкова неизлечимо больным. То, что он хотел ее напугать, было ясно, не зря же он говорил не "я", а "мы". Мы считаем, мы уверены, для нас несомненно.

Она даже успокоилась, догадавшись о цели его визита: просто напугать хочет, никакой сложной провокации нет. Надо убрать Быкова, упрятать, — подумала она почему-то словами Петра Павловича. Но он и в самом деле нездоров, впервые с абсолютной уверенностью и облегчением подумала она. Симптомы неопровержимы: навязчивости налицо, беспокойство и прочее. Надо завтра же показать его и утвердить диагноз. Все, что она могла, она сделала для больного, назначения были верными. Так что зря этот уговаривает ее, она и без него все знает. Не в угоду им, а по справедливости она ставит диагноз. Пора и мне у него кое-что спросить, — решила она и спросила:

— На работе он общителен?

— В каком смысле?

— Ну... доброжелателен, внимателен или угрюм, мрачен?

— По разному бывает... Ну, как больной ведет себя? Мрачен, конечно.

— Понятно. Раздражителен? Постоянно или временами?

— Бывает и это.

— Так. Понятно.

Понятно, что отвечать не хочет.

— Он ведь давно работает у вас? Раньше за ним это не замечалось?



— Нет. Вроде не замечалось.

Они друг друга стоят, — подумала Вера Дмитриевна.

Выходя из кабинета, он попросил Веру Дмитриевну посмотреть, нет ли в коридоре кого-нибудь из больных. Был мертвый час, и все больные были в палатах, посетитель специально выбрал это время для беседы с ней. Она вызвала сестру, и та проводила его.

Завтра же надо проконсультировать Быкова, — решила Вера Дмитриевна и еще раз просмотрела его историю болезни. Заметила, что ее записи куда короче, чем в других историях болезни. С соседями по палате почти не говорит, книг не читает, часто лежит, отвернувшись к стене — свидетельствуют сестры и санитарки.

Чего тут сомневаться, надо ставить диагноз и от греха подальше. Да, неизвестно, убивал ли он в самом деле, может, и это навязчивости, тем более, что он подробно не рассказывает, так только, намекает. Если бы убивал, не держали бы его здесь. Это — самый элементарный бред.

На следующий день Быкова смотрела Олимпиада. С ней Петр Павлович почти не говорил, отвечал односложно и несколько раз вместо ответа сказал:

— Я все Вере Дмитриевне изложил. Она все знает.

Консультация была короткой, Олимпиада куда-то торопилась, с тех пор как она защитила докторскую и получила звание профессора, у нее было

дел по горло. Она прочла записи Веры Дмитриевны, задала ему два вопроса, назначила еще инъекции и отпустила.

— Интересный мужик. Оказывается, и среди них попадаются... Пусть его забирают!

— "Знает", — подумала Вера Дмитриевна и ответила:

— Он тихий, потому и тревожно.

— Ничего, жив будет, не помрет. Ты и так ему мало дала, не пожизненно. До свидания, Веруша, я побежала.

В тот же день, проходя по коридору, она встретила Быкова у дверей палаты.

— Зачем вы поторопились? — спросил он, подойдя к ней.

— Поговорим в другой раз, Петр Павлович, я сейчас спешу, — она протянула руку, чтобы отстранить его с дороги.

— Пожалуйста, я не держу вас, — он посмотрел ей прямо в глаза, — вы пожалеете об этом, — сказал и отошел.

С тех пор она не вызывала Быкова к себе и виделись они только во время обхода.

Обычно он сидел на кровати и ждал ее. Вера Дмитриевна заходила в палату и спрашивала:

— Я надеюсь, здесь все в порядке? — потом смотрела на сестру, а та говорила, кому и когда явиться к доктору на осмотр.

— А я когда? — спросил Петр Павлович через несколько дней после консультации и посмотрел на Веру Дмитриевну.

Его, по всей видимости, должны были вскоре куда-то перевести, неслучайно вчера главврач затребовал его историю болезни. Во всяком случае она все сделала, что должна была.

— А вы пока принимайте то, что назначено. Нужно будет, позовем.

Сказала и вышла. Хоть бы больше тебя не видеть вовсе! — подумала с раздражением, а потом даже с торжеством — за все надо платить.

И все же Вера Дмитриевна захотела его увидеть. Пришла сама, хотя он больше не звал ее. Он, видно, чувствовал, что скоро уйдет.

Это было ночью, она дежурила в приемном покое. Дежурство было спокойным и она прилегла на топчане, накрывшись с головой. Но спать не могла, думала о Быкове. Сегодня санитарка утром, когда докладывала о прошедшей ночи, сказала:

— Всю ночь, вроде, плакал, вздыхал и стонал, не спал...

— Плакал? Показалось вам, Прасковья Васильевна!

— Нет, не показалось.

Вера Дмитриевна хотела весь день заглянуть к нему, но не выбралась. И вот теперь вспомнила. Пойду, посмотрю, спит ли, — решила она вдруг и засомневалась. Нет, лучше утром, еще напугаю, он ждет перевода. И осталась лежать. Но заснуть ей тогда не удалось, она встала и пошла в отделение.

Коридор был залит синим мертвенным светом. Надо завтра же сменить лампу, кому это, интересно,

пришло в голову ввинтить синюю, больным, наверняка, это неприятно...

Она остановилась у палаты Быкова. Дверь была приоткрыта и Вера Дмитриевна заглянула в нее. Кровать Быкова была у самой двери. Лунный свет пробивался тонким лучом сквозь неплотные занавески и позволил ей увидеть Петра Павловича.

Он лежал головой к двери, на спине, колени его были подняты и на коленях она увидела какую-то коробочку. Неужели спички, ведь он бросил курить? Вера Дмитриевна на цыпочках вошла в палату, подошла к его изголовью и посмотрела ему в лицо. Глаза его были закрыты, но он не спал.

Ей показалось, что губы Петра Павловича шевелятся, и она тут же услышала его шепот, но разобрала только одно слово "радуйся". Посмотрела еще раз на спичечную коробку и поняла, что это никакая не коробка. Это была маленькая, величиной с этикетку спичечной коробки, иконка Казанской Божьей Матери, наклеенная на картонку фотография, из тех, что продают сегодня в церквях. Она быстро отошла к дверям.

Быков не спал. Он молился с закрытыми глазами, время от времени осеняя себя крестом и тяжело вздыхая. Потом уже она догадалась, какую он шептал тогда молитву:

— Богородице Дево, радуйся...

Вера Дмитриевна тихо прикрыла дверь, обрадованная тем, что подтвердился ее диагноз, спустилась в приемный покой и уснула.

Никогда не вспоминала она ту ночь и вообще

не хотела помнить о Быкове. Отправила эту историю на самое дно памяти, не считала себя ни в чем виновной. Память покорно хранила эту лунную ночь, умиротворенность Веры Дмитриевны, тихий сон ее на жестком больничном топчане.

Ей тогда не снился Быков, ему еще не пришла пора кричать в ее снах: "Пожалей меня, я устал убивать!" Он другое тогда говорил: "Вы пожалеете об этом".

Угрожал или знал, уверен был, что она пожалеет?

Но она не жалела. И только в спорах со своими оппонентами прорывалась неосознанная жалость к Быкову. Хотя и тут она не хотела вспоминать о нем — а вдруг и в самом деле убивал? — а говорила о каких-то абстрактных людях, о каждом, которому дарована Богом совесть, как и образ Его. И ей отвечали одно и то же, разные люди, но всегда почему-то одно и то же:

"— Нет у них совести. Они — подлецы, мерзавцы, слизь человеческая. Что за святочные легенды о слезах раскаявшихся убийц, о ночных столах в подушку, о слезах удавов, пожирающих сладких кроликов! Это от старца Зосимы, начиталась, небось, Достоевского! Но старец-то провонял! Нет, не верю! Не больно им, нет у них совести!"

Одно и то же. О, как однообразен дьявол! Стулья были разбросаны повсюду как после большого гулянья и их медлили поставить на место, а если ставили, то лениво, небрежно и устало, а главное с запозданием.

И Вера Дмитриевна запоздала. Некому было, наверное, ее отмаливать, разве что Быков просил за нее, чтобы она пожалела.

Эта неотмоленность и была причиной тяжелой плоти в их роду. Все, кого она знала и помнила по отцовской и материнской линии, все были наказаны тяжелой плотью. Больше всего это было заметно в отце, словно в него сбежалось и в нем поселилось все тяжелое, плотяное, чтобы получить в нем свое завершение, а потом в ней, Вере Дмитриевне и, наконец, в Маше продолжить свою установившуюся прочно жизнь.

Так часто ей казалось и этим она оправдывала свою отчужденность. Винула отца за семя его, за то, что взошло в ней стократ. И только уже после его смерти поняла, что неповинен он был в том, что она взяла от него. Таков замысел Божий, чтобы дети были похожи на родителей плотью.

Но тяжелая жадная плоть, а значит и немощный дух передавались легко, если некому было отмаливать, если где-то в трагической чьей-то судьбе, оторвавшейся от Бога, разорвалось единство с Ним. И разрывы эти передавались из поколения в поколение. Тогда буйные побеги от семян отцов становились терниями, готовыми заглушить семена, брошенные Сеятелем. Оттого сорок лет выводил Моисей свой народ из Египта, чтобы ветры пустыни выветрили из плоти отцов память о рабстве. И оттого так губелен атеизм, это рабство у фараона, тьма египетская, в ней и начинается тьма безысходного одиночества смерти.

Смерть поглощала поколение за поколением, отравленная ядом безбожия плоть отцов умирала в плоти детей для того, чтобы те в свою очередь умерли в следующем поколении. Лукавый без труда вытапывал семена, посеянные Сеятелем: никогда в истории человечества не было у него столько пособников и столько жатвы. Сорока лет Моисею теперь не хватило бы...

Но на маленькой горке, почти незаметной, если стоять вблизи, высилась церковь. Низкая, не какой-нибудь величественный многоглавый собор, не шатровая с гулкими стенами и пышными росписями. Обычная деревенская церквушка, каких много было в России. И еще осталось.

За оградой кладбище, там уже не хоронят, но если выйти из ограды и пойти налево к лесу, то на краю его виднеется новое кладбище и сплошь новые кресты на нем. Там в этой церквушке и отмаливают Россию. Там и ее, Веру Дмитриевну, отмолили.

Только как она смогла ответить на это? И можно ли с чем-нибудь сравнить тяжесть постоянного начала крестного пути и почти невидимое продвижение по нему? Может, только и сравнимо это с тем началом исхода из тьмы египетской...

Каждый день — начало. И почти не видно движения. Ты продолжаешь падать, и крест твой падает вместе с тобой.

Но в маленькой церкви, в *каждой* церкви отмаливают тебя, а ты отмаливаешь еще кого-то. Медленно и кажется, что почти не видно этого медленного движения...

Но вот однажды ты будешь стоять в длинной веренице причастников. Уже прозвучали пленные колокола и их чуть хрипловатый жалобный звон вознесся с молитвами в небеса. Ты стоишь и сердце твое, омытое потоками слез, со страхом ждет приятия Страшных Тайн.

Ты уже знаешь в ту пору, что они — *Страшные*. И потому боишься Их, ибо начала в тебе, ты уверен в этом, никак пока не завершаются. И движения вовсе не видно.

Но церковь тихими голосами и пленными колоколами отмаливает тебя в ту минуту, когда немислимую твою глубину обжигает огонь Преображения, выжигая в тебе страх. И ты не боишься уже того, что начала не имеют в тебе продолжения, страх отдал свое место надежде.

О, тебя отмолили значит!

## 10

— А у меня есть что-то для тебя, тетя Верочка! Ты в состоянии слушать? У тебя усталые глаза. Ой, какие совсем усталые. Опять не спала?

— Наоборот, я слишком много сплю. От этого и слабею. Столько совсем не нужно. Только время уходит, лучше бы с вами поговорить. Где Настя?

— Рисует картинку для Тони.

— Для Тони? Что рисует?

— Все то же. Церковь и снегирей на куполе.

— Похороны завтра? Когда Дима приезжает?

— Сегодня ночью.



— Вы должны тоже пойти туда вместе с Машей и Борей.

— Конечно, если Дима сможет.

— А что это у тебя?

— Николай Георгиевич прислал тебе рукопись того старика, что уехал. "Записки безумца". И тебе — записка. Прочешь?

— Прочти. Он что, заходил?

— Нет, позвонил, и я подъехала к вокзалу. Слушай: "Верочка, должен уезжать, к сожалению. Посылаю тебе записки Василия Ипполитовича, я о них говорил тебе. Отец Сергей хвалил их. А уж я прочту после тебя. В ближайшие дни приеду. Низко кланяюсь. Твой Н.Г."

— Читай. Только я поудобней устроюсь. По-правь-ка эту подушку.

— Болит?

— Немного пока. Читай, много там?

— Порядочно. Но мы понемножку будем, пока ты не устанешь. Если только интересно. Значит — "Записки безумца".

*"Нечто вместо предисловия.* Я должен вначале объясниться. Почему "Записки безумца". Что это, образ ли, символ какой-то, литературный трюк, кокетство, наконец? Или претензия: вот называю себя безумцем, чтобы привлечь внимание, понравиться или позволить выходку какую, а сам — самый нормальный человек, а безумцы, напротив, те, кто не разделяют моих взглядов. О, все относительно, — скажете вы, и безумие тоже. Относительна и истина, — слышу я в последнее время все чаще. — Смот-

ря, что считать истиной, ведь в наш век, когда все истины дискредитированы... — говорят мне и торжествуют.

А я не спорю, давно уже не спорю. Мое безумие стало тихим. Я перестал бросаться в пыль и раздирать на себе одежды. Я стал писать, излагать свое безумство на бумаге. А что до того, кокетство это или претензия — не мне судить. И даже суд времени еще не суд — никто не знает сроков того Суда. "Но есть, есть Божий Суд, наперсники разврата!" — сказал поэт. Бывает, что он совпадает с судом времени, если Судия так предусмотрит.

Иногда я радуюсь своему безумию. И теперь все чаще. А раньше оно повергало меня в отчаяние. Я радуюсь, вспоминая слова Апостола: "Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом..."

Но радость моя совсем тиха и почти невозмутима. А раньше, когда я валялся в пыли в разодранной одежде на рыночной площади, я кричал, слыша лукавые мудрствования мудрецов. Я кричал им:

"— Посмотрите на себя, ведь вы верите в то, что произошли от обезьян и от этого стали похожи на обезьян. На обезьян, которых труд научил торговать. На обезьян, заменивших религию политэкономией. Да, вы поступаете согласно вашим обезьяньим идеалам! Торговля движет миром, а музыка коммерции покровительствует вашей культуре. Вы торгуете Христом и сердцем своим торгуете! Но вы

умрете, станете прахом и прахом станут ваши мудрствования!”

Мудрецы отходили от меня и ногами вздымали пыль. Облако пыли покрывало меня. Пыль забивала мне рот, и я умолкал.

Потом я долго не мог отмыться.

Но вот все реже и реже я стал ходить на рыночную площадь. Там по-прежнему бойко шла торговля и чем бойчей она была, тем меньше обращали на меня внимание мудрецы. Им некогда было уже спорить со мной. Муза коммерции летала на самолетах и перевозила в разные страны вместе с товарами потребления и мудрствования мудрецов. Надо было поспеть к отходу самолетов.

И вот однажды, просидев в пыли долгое время, я не смог найти в себе силы кричать свои угрозы. Наверное, из-за того, что перед тем, как отправиться на рыночную площадь, я прочел о том, что произошло ”смещение” солнца и земли с центрального положения к краю галактики. Я плохо понимал, что и куда переместилось, но там же было написано и такое: перемещение или смещение это нанесло значительный урон человеческой гордыне и самоуверенности. Отказ от гелиоцентрической модели вселенной, основанный на достоверных астрономических данных, был явно смертелен для идеи превосходства человека в материальном мире...

Я думал, что прокричу эти слова на площади — собственно для меня они не значили ничего особенного, они предназначались мудрецами для мудрецов — но почувствовал, что голос мой пропал. И

я ушел к себе, в свое одиночество, в свою келью, поставленную Домостроителем вблизи рыночной площади. Я достал бумагу и написал на ней:

”Слава Тебе, Боже мой, что есть Церковь, есть священники, есть духовный отец, что день сменяется ночью и вновь наступает день. Что движется время к концу, но Ты оставил его еще для того, чтобы можно было покаяться и научиться любить. Слава Тебе, что ты даешь время для этого!”

*Для кого же вы написали это? – спросил мой оппонент, один из мудрецов.* Он увидел это на моем столе, когда пришел ко мне, заметив мое отсутствие на рынке. И видно нуждаясь все же в моих проклятиях, стал искать меня. А я уже понял тогда, что у него осколок в глазу и в сердце, как у мальчика Кая из сказки Андерсена. И этот проклятый осколок кривого тусклого зеркала стал причиной его лукавых мудрствований, его духовной слепоты, его трагедии. А вымыть его можно только слезами покаяния. Но ему не в чем каяться, сказал он. Он, видно, знал, что, если признает себя хоть в чем-то виновным, сразу же перестанет быть мудрецом, ибо их сила в своей *правоте*.

Я был еще не готов тогда к ответу. К тому же позабыл его язык.

С тех пор, как я перестал кричать проклятия на рыночной площади и слышать в ответ возражения и увещевания мудрецов, я почти забыл их язык.

Я уже привык думать на языке пророков, псалмопевца и апостолов, и забыл *госъязык*, на котором изъяснялись мудрецы и создавали свою культу-

ру. К сожалению, он стал нормой — его насаждали уже много лет на территории моей родины.

И все же я должен был попробовать объяснить-ся с ним. И попробовал. Но выяснилось тут же, что наш диалог невозможен, ибо нам обоим мешало отсутствие общего языка.

Я вслушивался с напряжением в то, что он говорил, и заметил, что язык его похож на мычание. "Простое как мычание" — вспомнил я строку из стихотворения такого же мудреца.

Но горе мне, я не умел мычать, разучился, а, может, и вовсе не умел. Хотя я выяснил, что это совсем нетрудно, надо только внушить себе, во-первых, что ты прав во всем, а, во-вторых, что ты достоин награды за свою правоту. Ведь корова трижды права, когда требует, чтобы ее подоили или впустили в хлев.

Я припомнил последние шедевры, написанные на этом языке, думая что это поможет мне настроиться нужным образом. Когда меня прельщали читать эти шедевры, то главным доводом было признание за их авторами таланта и мастерства тонкого психологического анализа. Но я, увы, нашел там психологический анализ все той же правоты коровы, которая просится в хлев. Что же касается *таланта* — он очень ценится в наше время — то я отношусь к нему так же, как к мудрости мудрствующих, талант дан Богом каждому, но не каждый отдает его в рост, что известно из притчи о талантах. Поэтому, видимо, меня совсем не тронули в шедеврах, написанных с талантом, тонкости переживаний, постиг-

ших корову по пути к хлеву, не тронули ни тяжкие уклонения в сторону, угрожающие ей гибелью: вот-вот ее собьет машина или раздавит паровоз. Не возбудили во мне гражданской мысли ее протест против действительности и порыв кое-кого забодать и не растрогала всепоглощающая жажда продолжения рода, написанная порой с высоким лирическим пафосом.

А между тем мой оппонент прервал мои воспоминания шедевров и повторил свой вопрос:

— Для кого же вы написали это?

И я ответил ему честно:

— Это молитва моя, мое благодарение и слезы мои. Они могут понадобиться только тому, кто знает то, что узнал я, когда записал это или тому, кто хочет узнать.

— *Сколько же их, кто хочет? Раз, два, да обчелся?* Вы не ответили прямо на мой вопрос. Для кого же вы пишете, для себя или для народа?

Оказывается, он меня совсем не понимает, — подумал я и спросил:

— Что такое народ?

— Ну, люди, массы. Хотя и необязательно, чтобы массы. Но все же аудитория должна быть.

— А церковь это — аудитория?

— Что значит церковь? Те, что стоят там, что ли?

— Пусть так.

— Пожалуй. Там, говорят, бывает теперь народу много. Только читать-то они умеют?

Уважает арифметику, отметил я про себя, и сказал:

— Я бы хотел для них писать, для тех, кто там стоит.

— Значит, не для себя молитвы и благодарения эти, — он, кажется, торжествовал.

— Значит, не только для себя. Вернее, для себя и для них, потому что я — одно с ними.

— А почему вы уверены, что им это нужно?

— Я уже ответил на это только что. Надеяться хочу на это. Потому и пишу.

— Но ведь среди них немногие читать захотят. Раз, два и обчелся?

— Возможно. Миссионеры радовались, если обращали ко Христу одну душу. Вы знаете, конечно, притчу о заблудшей овце?

— Что-то припоминаю... А... это когда ради одной бросают девяносто девять? Но в культуре так не бывает. Она рассчитана на массы.

*Я не раз слышал о том, что культура должна быть понятна народу. Но знаете ли вы, что стоит за этим?* — спросил я его.

— Воспитание нравственного чувства, — ответил он.

— Но это удастся только истинной культуре. Не культуре мудрецов, а культуре безумцев, утверждающих не правоту мира сего, а правоту Христа. Правоту Бога, пришедшего на землю, чтобы умереть за людей.

— Эта культура умерла вместе с Богом. Мир возмужал и устал верить в рождественские сказки, мир захлебнулся в крови и та культура, которую вы

проповедуете и хотите продолжить, не спасла его от крови.

— Культура от крови не спасает. Она идет на крест и ведет на крест. А на кресте всегда кровь.

— Зачем тогда это?! Опять значит кровь? — мой оппонент кричал на меня и из глаз его сыпались осколки тусклых зеркал.

— Зачем? Разве вам мало крови и крестов?

В другое время я бы непременно бросился после этих слов в пыль. Но теперь моя тишина не откликнулась на его слова. Я видел, как осколки впились ему в глаза и в сердце, и оно сжалось, ему было страшно больно и из-за этой боли он совсем не слышал меня. И я решил начать издалека.

*Кто же из них апостол невежества?*

— Вы помните, как Гоголь воспротивился тому, чтобы культура, а в частности, литература, становилась понятной народу? Зачем читать мужику книги демократов, социалистов, безбожников, он должен читать Священное Писание, — утверждал Гоголь. — Оно ведь вмещает в себя смыслы всех вещей и явлений, которые знает мир и которые ему положено знать. Там есть история всех вещей, их начала и концы.

Белинский готов был распять Гоголя за это и кричал ему: "поборник кнута! защитник обскурантизма!" А Гоголь исходил из простейшей мысли, правоту которой доказала со всей неопровержимостью наша история. А мысль эта вот: для спасения души прежде всего нужно просветиться светом Священного Писания, а значит и для воспитания нрав-



ственного чувства, как говорите вы, тоже. Ибо нет ничего важнее для развития нравственности и понятнее нет ничего, кстати, кроме Бога. Бога, как Истины, Любви, Добра и Судии.

А самое вредное и опасное для развития нравственного чувства есть отрицание Бога, а значит утверждения возможности убить, украсть и так далее. Кажется, ну, что может быть понятнее этого? Во все века ставился этот вопрос, эта альтернатива, и всегда решался именно так. А если решался иначе, то землю обвивала колючая проволока, за которой люди, став надзирателями, мучали и убивали себе подобных.

Вот тот мужик, которого хотел просвещать Белинский своим способом, сначала сопротивлялся убийству, как мог, в нем еще жил страх Божий. Потом дети его, затем внуки и правнуки поддались этому соблазну "просвещения". У них отняли мир, который дарован Богом, и они начали убивать все чаще, затем убийство стало ремеслом.

Культура отвлекала от Бога, уводила от мыслей о душе и для этого научилась *развлекать*. Наконец до того доразвлекались, что человек стал бояться себя, а значит разучился думать, ибо думать — это быть с собой наедине.

Я недавно наблюдал печальную картину. Трое молодых людей, ожидая электричку, которая придет через десять минут, играли в домино. Они раскинули кости прямо на плоской поверхности асфальтовой платформы и, присев на корточки, играли. Это было неудобно, но они должны были немед-

ленно развлечься, чтобы не оставаться ни на минуту с собой наедине. Внутренний мир свой они не знали, он был задавлен, забит камнями, как заброшенные российские храмы. Они видели только плоскую поверхность, эмпирию и задыхались в ней от скуки.

Потому мир и захлебывается в крови, как вы говорите. Только потому и захлебывается, что люди отказались от Бога, а значит и от самих себя.

Я вспомнил слова одного богослова. Он сказал, что мы ответственны за то, богохульствует мир сегодня или молится. И сказал своему оппоненту об этом.

— *Но молитвы никому уже не нужны! Да их и не покупает никто!* — крикнул он мне в ответ со злорадством.

— Вы правы, конечно, молитвы никто не покупает. Это естественно. Так и должно быть. Особенно теперь, когда мир богохульствует. Цивилизации не нужны молитвы о спасении души. Она не занимается душой, она занимается телом, желудком. И потому озабочена своим дальнейшим расцветом, усовершенствованием мира сего, а не отрицанием его соблазнов во имя спасения бессмертной души. Мир разделен. Одни молятся, другие богохульствуют. И вот вам ответ на ваш вопрос: "кому нужны ваши молитвы?" Тем, кто молится.

— Но ведь их единицы! — снова повторил он.

— Сколько бы ни было. Пусть хоть один человек. Да, за молитвы не платят, их не покупают. Но за это и не следует платы. За творчество не платят,

его дарят. Бог творил мир не для себя, а для другого. И меж ними не было торговых отношений...

Мой оппонент молчал. Мне показалось, что он наконец согласился со мной. Радость подхватила меня и понесла ввысь.

— Вы согласны, ведь правда же вы согласны со мной? — крикнул я.

Он вздрогнул и открыл глаза. Неужели он спал? Где, на каком месте моего ученого трактата он уснул? Неужели на самом для меня важном?

О, Боже, кто же из нас был безумцем пред Тобой?!"

## 11

Они вернулись с похорон без Бориса. Это Вера Дмитриевна поняла, как только Маша, Зина и Дима вошли в дом. Услышала, как спросила Настя:

— А где Боря?

— Он к Тоне пошел, — сказала Зина, — тетя Вера спит?

— Не знаю, — ответила Настя.

— Сейчас посмотрю, — Маша приоткрыла дверь.

— Не сплю. Жду тебя.

Глаза Маши, казалось, ушли на самое дно глазниц и светились оттуда сухим воспаленным блеском.

— Ну вот и все, мамочка, — сказала она, наклонившись к Вере Дмитриевне и притронулась губами

к ее лбу. Она встала на колени, положила голову на грудь Вере Дмитриевне.

— Вот и все, мамочка! Все.

— У тебя жар, Маняша? Может, температура? — прошептала Вера Дмитриевна, — или лицо горит?

— Нет, ничего у меня нет. Я жива. Жива. Его нет, а я здесь, в полном порядке.

Теперь она склонила голову совсем низко, положила ее на руки, прижатые к полу. Она говорила тихо, словно обращалась к кому-то, кто был там, внизу, под ее лицом:

— Подумай, какое несчастье! Все. Кончено. А, мамочка? Кончено. И все. Прости меня, мамочка моя. Ты — голубка моя. Голубонька ты моя. Мамочка моя. Ты прости меня, мамочка моя. Это я всех мучаю. И тебя мучаю. И его погубила. Я во всем виновата. А он так любил меня, мамочка! Ты знаешь, как он любил меня? Гордец был и виду не показывал. Поэтому никто не знал и ты не знала. Он тебя очень уважал и боялся тебя. А я теперь только начинаю понимать, что он любил меня, только меня. На меня вся его надежда была. Он Тоню давно не любил. Он меня любил. Раз так сделал, значит любил? Жениться на мне хотел. И деньги мне отдавал. Как будто я — жена его. Вот видишь. Из-за этих денег, она скандал подняла. Но это только повод. Кому они нужны теперь эти деньги? Я их по почте отправила Колиной маме, пусть она делит. Кому они теперь нужны, эти деньги, если его нет? А мне они вообще никогда не нужны были. Он говорил: "Пусть у тебя будут. А то пропью. На кооператив. Все го-

норары собирать будем и построим. ”Дом, который построил Джек”. Вот и все. Нет никакого дома, нигде нет ничего. Что ты молчишь? Ты молчишь, я заметила, что ты все время молчишь и слушаешь в себе что-то. Что ты там слышишь?

— Я слушаю тебя. Что я могу сказать? Мне нечего сказать...

— Да, конечно. Нечего. Совсем нечего говорить. Но ведь мы должны говорить. Люди должны же говорить, пока они живы. Ты знаешь, мамочка, так жить уже нельзя. Чтобы не говорить всю правду. Потому что знаешь, мамочка, я сегодня поняла, что конец уже близко. Совсем близко. Что-то вдруг проснулось во мне, как обнажилось. Какое-то новое качество, оно, наверное, копилось и вдруг я стала иначе все видеть, иначе думать. Далеко думать, отрывать. Колина смерть оторвала меня, что ли, от привычного круга. И еще... Знаешь, я люблю одно место в Москве. Станцию метро, где Воробьевы горы. Когда поезд влетает в эту станцию, она ведь стеклянная и сквозь это стекло видна такая красота. Москва как часть русской земли, не как каменный мешок, в лабиринтах которого мы задыхаемся в сумасшедшей и ужасной спешке, не проклятый город, где вечно казни и похороны, а Москва, как часть природы, Божьего мира, как место рек и холмов, как земля, где тоже бывает яркая, сочная трава. Сегодня вдруг увидев это по дороге из крематория, я поняла, что совсем мало осталось нам видеть это. Совсем немного времени осталось, и все эти холмы будут покрыты трупами. Я так ясно увидела эту

черноту: черную реку и черные трупы. Погибнет Россия. Погибнет и нескоро воскреснет, очень нескоро. Гибель эта будет пострашней, чем во времена татар. Только холмы эти и речка останется. Так ясно я увидела это, будто нет меня уже здесь самой, а я оттуда вижу. И такая, мамочка, тоска меня взяла. Такая нечеловеческая тоска от бессилия предотвратить это, что сердце даже захлебнулось от горя. Но вскоре на меня апатия напала, вспомнила я Колю и как гроб его уходил куда-то и впервые поняла его смерть. Невозможно *здесь* жить без Бога. Нигде невозможно, наверное, но здесь особенно. Поэтому здесь с таким упорством от Него отлучают, чтобы и уходили такие, как Коля, в пьянство или в смерть, они никому не нужны, совесть здесь опасна. Вспомнила я твои слова. Помнишь, ты Коле сказала? "Без Бога ничего не сможете сделать, все суррогатом будет". Помнишь, да? Он потом однажды вспомнил эти слова. И сказал: "Если бы Бог был, Он не простил бы такого богохульства, как у нас". А я сказала: "Он и не простит".

Но он снисходительно улыбнулся. "Смотри, как они процветают. Значит, или Он простил им, или Его нет". Это смертельная зараза, болезнь, паралич. Чтобы лучшие умы, у Коли был сильный и выносливый ум, были парализованы настолько, чтобы не понимать самых простейших вещей, того, что любые неграмотные старухи знают, как азбуку. Это конец, да, мамочка? Конец. Так еще не было никогда, значит, конец. Одни безбожники пойдут на других и будет кровавая бойня, не Священная война, не Отече-

ственная, а просто вселенское убийство из-за куска хлеба. И жуткая тоска от этого. Безысходная тоска. Так жалко этих зеленых холмов и сверкающей реки.

Маша подняла голову и выпрямилась. Она стояла на коленях и смотрела в окно. Слезы высохли, и глаза снова горели сухим блеском.

— Мне кажется, что смерть его была несчастливой. Может, так быть, что это — Промысел?

— Не знаю. Бог никому не внушает мысль о самоубийстве.

— Значит, он погиб? Погиб навечно? Да? Ты понимаешь, что это значит для меня? Он так и сказал: "Я погиб." Это я виновата. Я! Я! Я его погубила! Что ты молчишь? — Маша опять распростерлась на полу, и Вера Дмитриевна услышала сначала ее тихий бессильный плач, а потом прерывистый шепот.

— Ты сама все знаешь. Но ты больна. И я опять виновата. Теперь я и тебя убиваю. Я все порчу и порчу. Но ты должна выздороветь, мамочка! Ты еще молодая. Не может быть, чтобы Господь и тебя забрал у меня. Мне хватит его смерти. Мне хватит! Хватит! Я не хочу!

Она вздохнула и заговорила спокойно:

— Ты поправишься, мамочка. Я знаю, ты думаешь о смерти. Но ты должна жить еще. Я верю, ты поправишься. А его нет. Нет его. И гроб был закрыт. Только фотография на крышке. Какая-то из юности. Я побоялась рассматривать ее. Он не любил сниматься. И я его не увидела больше. Только тогда на

балконе перед тем, как он улетел. Настя сказала, что он думал, что может летать. А он и по земле ходить не умел, не то, что летать. Знаешь, что он сказал тогда на балконе? Если ты не спасешь меня и не уйдешь ко мне, я погиб. Впервые он так сказал. А я отшутилась — что ж, ты хочешь, чтобы мы вместе погибали? Он сразу опомнился. Ну, смотри, пожалейшь, прокидаешься! Зло даже сказал... Боже мой, кто мог подумать? Представляешь, так сказать? И выброситься вниз головой! Я никому это не рассказывала. Только тебе. И вот я думаю, если бы я действительно ушла к нему, что было бы? Ты бы умерла, да? Ты бы не смогла это пережить, это уж точно. Правда? Я ведь не могла тебя убить? Разве я могла бы тебя убить?

Последние слова Маша сказала совсем тихо и в это время отворилась дверь и вошла Настя.

— Это ты, Настенька? Иди ко мне. Иди сюда. Пожалей меня, хоть ты, меня никто не жалеет, только ты — Божья душа — меня жалеешь. Ты — моя дорогая девочка, маленькая моя, — Маша обняла Настины ноги и прижалась к ним головой. Настя опустилась на колени и заглядывала Маше в глаза. Потом провела пальцем по Машиной щеке и показала ей палец.

— У тебя слезы сверкают, переливаются, как стеклышки, как бусинки, и в них — радуга. Ты отдала Тоне мою картинку?

— Какую? — Маша недоуменно посмотрела на Настю.

— Со снегирами.



— А, рисунок твой. Нет, не отдала. Что ты? Я и не подходила к ней. Она же ненавидит меня. Я боялась еще одного скандала. И дала Боре твою картинку, он передаст Тоне. Он туда пошел, к ней.

— Ну все, успокойся, Маняша, — сказала Вера Дмитриевна, — принеси ей капелек успокаивающих, Настя. Мама знает, каких.

— Сейчас, — Настя вышла.

— Пожалей и ты ее, Маняша. Она очень расстраивается, ведь ты знаешь, как она страдает из-за тебя.

— За меня? Только она и страдает. Больше никто. Меня никто не любит. Никто. И ты тоже не любишь. Я знаю. Только он меня любил, а я все рассчитывала. Нет, не рассчитывала. Тебя боялась, вот что! Знай, что из-за тебя я не ушла к нему. Из-за тебя! Борю пожалела, тебя боялась, а он погиб. Он единственный из всех людей любил меня, а я его не пожалела. А ты меня эгоисткой считаешь. Опять молчишь? Скажи что-нибудь! Не так я говорю, опять не так?

Вошла Настя со стаканом и подала его Маше.

— Вот тебе успокаивающие капельки. Пей. А ты хочешь тоже, тетя Верочка?

— Нет. Что мама делает? Позови ее.

— Она с Димой говорит. Его тоже позвать?

— Пусть идет.

— Да, да. Пусть все сюда идут! — Маша поднялась с пола. — Пойду умоюсь.

Когда она вернулась, в комнате Веры Дмитриевны сидели Настя, Дима и Зина. Дима рассказывал о похоронах Коли. Вошла Маша и он замолчал.

Она села у двери и сказала:

— Нам надо решить, как дальше жить. Мне как жить. Нас мало осталось. Нас всегда было мало, а теперь все меньше становится. Коля погиб несчастно. Это мне — возмездие.

— Подожди-ка, Маша. Давай сначала, как положено, помянем его. Вы не возражаете, Вера Дмитриевна, если мы здесь с вами... — спросил Дима.

— Конечно. Зайченыш, принеси сюда маленький столик. У вас есть что...

— Вино есть и все есть, — Зина встала, — да я сейчас.

— Что такое возмездие? — спросила Настя.

— Маша думает, что если умер Коля, то это *ей* наказание. Но это не так.

— Не так, — обрадовалась Настя. Она встала со своего места и, поднявшись на цыпочки, взмахнула руками. — Наказание совсем не так бывает.

— Много ты знаешь... — сказала Маша.

— А вот и знаю. Это очень просто. Когда не хочешь умирать, а Иисус Христос забирает. Это когда страшно умереть. А он сам захотел умереть. Он не боялся, да? Ему жить не хотелось. Вот он и умер. А тебе жить хочется. И мне тоже. Умереть легко, кто захочет, умрет обязательно. Он на небо захотел. Потому что не боялся Бога. И теперь душа его молится за тебя и за Тоню. А, может, и за меня тоже. Да, тетя Верочка, за меня тоже?

— Конечно. Сядь. Посиди спокойно. — Вера Дмитриевна отодвинулась к стене. — Сядь вот здесь, рядом. — Она взяла Настю за руку. — Ой, как у тебя

пульс бежит вприпрыжку. Посиди немного здесь, успокойся, а потом поиграй нам. Я тебя еще сегодня не слушала.

— Поиграть? А можно сейчас? Я сейчас хочу, — обрадовалась Настя. — А вы будете слушать? Или вы опять будете разговаривать о мальчике этом? И пить будете? За упокой души, да? Ну, а я вам поиграю. Можете говорить, что хотите и сколько хотите. Я ему сочинила. Этому мальчику.

Настя выбежала из комнаты и вскоре они услышали ее игру. Сначала она старательно играла какие-то упражнения. И пока Зина накрывала на стол, время от времени кричала: — Мама, пора?

— Нет еще. Я скажу, когда.

Но вот и столик придвинули, Маша села напротив Димы и Зины на кровать. Налили первую рюмку, Вера Дмитриевна чуть пригубила и отдала Маше. Они молча выпили и услышали Настин голос:

— Это моя новая композиция.

Зина улыбнулась, посмотрела на Диму и сказала:

— Памяти Коли. "Молитва" называется, она вчера играла мне. Неужели запомнила?

Настина музыка была простой, как все ее импровизации. Она напоминала молитвы, а больше всего "Херувимскую", по звенящей чистоте и робкой нежности переходов.

Маша опустила голову и на руки ее, лежащие на коленях, закапали слезы.

— Я все никак не могу одну мысль додумать, — сказала она тихо, — неужели жалость невозмож-

на к живым? Ведь раньше люди не боялись слабости и одаривали жалостью, как высшим даром. Меня это поразило в "Бедных людях" Достоевского. Там какая-то совсем не та любовь. А у нас любовь — буйный пир, спор на пиру, кто кого перекричит... Почему? А, Дима? Вот ты любишь Зину и она тебя... И ты, мамочка. Скажи, я правду говорю?

— Правду. Но... Теперь надо начать тебе о Боре думать. И немедленно. Не сердись на меня, так надо. Тебе пора о нем тоже подумать. Иначе...

— Вот-вот! Что иначе? Всегда одно и то же. Зачем о нем думать, да еще немедленно? Я и так о нем слишком много думала, вот и получилось... С ним, мама, все в порядке. А Коли нет. Он умер, Коля, разбился о мою жестокость. Дима, что ты так смотришь на меня?

— Смотрю, чтобы понять, много ли у тебя еще сил? — Дима улыбнулся. — Прости меня... ты ругаешь себя за жестокость к Коле и хочешь быть жестокой с Борисом...

— Он все знает, — сказала Зина.

— Что все? Знает, да не все...

— Знает, знает, Маша. Он мне сказал, — Зина перебила ее, — знаешь что? "Я не буду, говорит, бросаться с балкона, хотя мне ничего другого не остается". Потом улыбнулся и сказал: "страсти прямо по Шекспиру". Застыдился. Помолчал и добавил: "Надо бы мне уйти, но Вера Дмитриевна больна, нельзя".

— А... красивые слова, литература. Не люблю я его! Так и знай это, мать. Не люб-лю. И жить с ним

не буду. Можешь не просить меня и не смотри на меня умоляющими глазами. Я не венчалась с ним и никакого греха не будет в нашем разводе. — Глаза Маши опять загорелись сухим пламенем.

— Чтобы я теперь легла с ним в одну постель, ты хочешь? После всего, что было? После *этой* смерти? И после всего? Нет. Нет и нет! — крик ее заглушил Настину музыку.

— Замолчи! Я прошу тебя. Замолчи. — Вера Дмитриевна приложила палец к губам. — Лучше послушай. Зачем ты так кричишь?

Настя тихо пела, аккомпанируя себе, пела без слов тонким прозрачным голоском. Они долго молчали, слушали ее. А потом Вера Дмитриевна сказала:

— Я знаю, что из-за моей болезни у вас все разладилось. Вы ждете. В доме все не так стало. Напряженность и ожидание. Даже жертвенность. Зачем вы ждете, Дима? Хотите жениться и не надо из-за меня откладывать. Живите у нас. Я Настю к себе в комнату могу взять, раскладушку поставим. Мне бы не хотелось, чтобы Зина и Настя ушли отсюда. Но я и с этим могу примириться. Не надо откладывать. А ты, Маняша, не хочешь жить с Борей — не живи. Хоть сегодня разойдитесь. Можешь выбросить его вон из дома. Выгони его! Выгони за то, что изменила ему! К чему эти церемонии? Можешь даже сказать ему, что если бы не он... что он виноват в гибели своего лучшего друга. Что ты смотришь на меня с удивлением? Это так естественно вытекает из всех твоих речей. Только знай, что ты еще больше будешь кри-

чать потом, когда он уйдет. Я это знаю, сама такая была... Но вот... бывает у человека порог, перед которым он однажды оказывается и переступить который безболезненно не может. Он рискует, прыгает... и обязательно ломает ноги...

— Значит, я обречена на жизнь с ним? Почему, по какому закону? Значит, у меня нет никакой свободы? Но как же ты можешь требовать, чтобы я жила без любви, значит во лжи, да? В обмане, постоянном обмане? Да и как совместить это с... заповедями?!

— Ты о жалости говоришь, о любви или о постели? Если о любви, то...

— Да брось ты! Это общие слова, а у меня реальная жизнь!

— Это не реальная жизнь, тебе хочется считать ее реальной. Одного жалеешь, а другого — нет... Что же здесь реального, это ведь нормальный произвол. А завтра можно захотеть еще что-нибудь и так далее. Это еще никакая не свобода.

— Я и сама знаю, что не свобода. Ты мне лучше скажи, а как совместить свободу или желание свободы с ложью, с принуждением?

— Никак. Только не путай, пожалуйста, свободу со служением себе, своим страстям, прихотям... это не совмещается. А что касается того, как поступить с Борей, по-моему, выход единственный, иного нет.

— Какой же все-таки?

— Подожди, сейчас, — Вера Дмитриевна протянула руку к лекарству. Маша налила в рюмку воды и дала ей.

— Тебе плохо, мама? Наверное, не стоит продолжать этот разговор. Но мне надо сказать вам еще одно... — Маша посмотрела на мать, дотронулась до ее лба, провела рукой по волосам. — Ты вспотела. Жарко. Может, форточку открыть? Открой, Зинуша. Вот так лучше, свежий воздух. Я скажу вам, никак нельзя не сказать... Я беременна. Это Колин ребенок.

Зина и Дима тотчас посмотрели на Веру Дмитриевну. У нее были закрыты глаза и только едва заметно подрагивали ресницы.

— Он знал об этом? — спросила Зина.

— Кто? Коля? Знал, конечно. Наверное, я зря ему сказала.

— Он был в самом деле болен. Не хотел жить. Ты не при чем здесь, в нем жизнь кончилась. — Вера Дмитриевна приподняла голову на подушке и снова опустила ее.

— Это может отразиться на ребенке моем? — Маша посмотрела с испугом на Веру Дмитриевну.

— Не думаю. Ты об этом даже не думай!

— Как я могу не думать? Смешная ты, мама. О чем же мне еще думать теперь? Вот я и думаю, что делать, как быть?

— Я надеюсь, ты не сомневаешься в том, чтобы оставить ребенка?

— Когда он был жив, я даже решила, что сделаю аборт. Раз я оставалась с Борей... Теперь...

— Теперь надо Боре все сказать. Сейчас самое главное — он. Его нельзя потерять. Нельзя.

— Это как раз и убьет его. Он страшно самолю-

бив. Разве такое мужчины прощают? Я не знаю, мама, что делать, как сказать? Легко говорить — надо сказать. Но как?

— А вот так взять и сказать, — Зина посмотрела на Диму, — вот если так сказать: прости меня, Боря, но вот так вышло. Теперь, мол, хочешь, уходи. Я не буду в обиде. А можешь — останься. Я бы так сказала. Как ты, Дима?

— Может, мне с ним поговорить? А, Маша? Или письмо тебе ему написать, раз он — самолюбивый? И тебе легче будет.

Дима вопросительно посмотрел на Веру Дмитриевну, ждал ее решения.

Маша разлила по рюмкам вино и сказала:

— Пусть будет как будет. Мне сейчас легче стало вдруг. Когда вам сказала. Жутко все это время было мне одной. Я даже отцу Сергию боялась сказать. Вот давайте выпьем...

Зина чокнулась с Машей и протянула руку с рюмкой к Вере Дмитриевне. — За твое здоровье, тетя Верочка. Вот и маленький будет у нас скоро, правда же хорошо... — она неожиданно всхлипнула и прислонила лицо к плечу Димы.

— Я скажу ему, но не сегодня, а там, как хочет. Да, мама? Правильно?

— Только сказать нужно сегодня... Сразу же. Я очень боюсь, что мы можем его потерять, поэтому так и говорю. Наступает однажды момент, когда человек переигрывает, что ли, ну и тогда игра делает жизнь невозможной... Так вот, как с Колей... Скажи ему. Сразу же. От того, как ты скажешь и когда



— все зависит. У тебя с ним все еще спор на пиру продолжается, турнир, побеждает не сильный, а ловкий. Кто ловчее в любви к себе, тот больше и ухватит. Ты оказалась пока ловчее. Но это, как видишь, не победа, а поражение. А почему Настя замолчала? Где она?

— Кажется, кто-то позвонил. Она дверь пошла открывать. Это Борис, наверное. Да, вот и он. Что так быстро? Садись вот сюда, — Маша встала с кровати и поставила еще один стул.

— Тяжко там очень. И я ни к чему. Родственники остались, а мы ушли.

— Ты отдал мой рисунок? — спросила Настя.

— Отдал.

— Она взяла его? И что сказала? — лицо Насти стало счастливым.

— Ей понравилось. Особенно птицы. Как живые, сказала. И спросила, кто учит тебя рисовать. И где ты видела снегирей.

— А правда птицы и собаки это дети, которые не умеют говорить? У них есть собака?

— Нет. Собаки там я не видел.

— Все институтские ушли? — Маша вмешалась в их разговор.

— Нет, кое-кто остался. Как вы себя чувствуете, Вера Дмитриевна? Как давление?

— Давление скачет, как обычно.

— А ты вчера приехал, Дима? Как съездил?

— Вчера. Все в порядке, прочел лекцию и на самолет.

— Выпей, Боря. Вот из моей, хочешь? — Маша протянула рюмку.

— Нет, что-то не хочется больше. Устал. Спасибо. А ты выпила? После похорон надо обязательно, а то можно заболеть...

— Я... вот мы здесь решили... — Маша встала и закрыла дверь.

— Не закрывай, — крикнула Настя, — я сейчас для Бори сыграю...

Маша приоткрыла дверь.

— Хорошо. Играй. Настя сочинила музыку памяти Коли... Послушай, — сказала она, села на свое место и взяла Веру Дмитриевну за руку.

Они слушали совсем недолго и вдруг Маша тихо сказала:

— Не могу больше.

Зина испуганно посмотрела на Веру Дмитриевну, потом на Бориса. Он сидел, потупившись, и даже не взглянул на Машу.

— Я очень виновата перед тобой, Боря. Я бесконечно виновата. И я знаю, что не достойна твоего прощения. Но так случилось... У меня ребенок будет... Колин... — первые слова Маша сказала неуверенно, а последние произнесла громко, отрывисто и быстро.

Борис не поднял головы, замер на несколько секунд. Потом тоже заторопился:

— Что ты говоришь? Этого не может быть! Я не хочу этого знать! — он посмотрел сначала на Веру Дмитриевну, явно надеясь на ее вмешательство, затем на Диму и Зину.

— Они знают. Мама знает.

— Знают? Почему? Теперь что? — Борис вздохнул, помолчал мгновение и сказал уже почти спокойно, — Коля был замечательный человек. Он был моим самым близким другом. Мы всю жизнь дружили и ничего друг про друга не знали. Что я еще могу сказать? Ему не повезло... Он знал?

— Да, но я ведь отказалась от него сама... выйти за него...

— Это я уже слышал. Знаю. Хотя... Ну да, может быть, так и не было бы. Но зачем теперь-то об этом говорить? И что ты решила? Как все *это* будет? Как ты хочешь и что ты хочешь?

— Я? Что я? Я уже сказала... Ребенок родится.

— Ну, да... Понятно, что родится. А я? Я что должен?

— Это ты, Боря, решаешь, — резко и неожиданно для него громко сказал Дима. — Ты решаешь. У тебя спрашивают. — Он сделал акцент на словах "у тебя".

— Ты так думаешь? Разве она спрашивает? Помоему, она сообщает, а не спрашивает. Вот вы смотрите на меня и ждете чего-то от меня. А я как в клетке... Я домой, сюда вот шел и о вас думал, обо всех... Вот вы в Бога вроде бы верите. Вы даже говорите не так, как я, а уж что думаете, так это вообще не известно. Говорите, будто подразумеваете кого-то еще. Раньше я думал, что это игра у вас такая, вы договорились и правила выучили этой игры, а потом решил, что этого не может быть, что это такой способ существования, тоже, конечно, избранный.

Как бы то ни было, мне это непонятно, просто не укладывается у меня в голове. Да и у Коли тоже не укладывалось. У вас вроде бы все происходит, как у всех, и все же совсем не так как-то. Мы с Колей даже как-то обменивались на сей счет, и он сказал: "Мне кажется, в этом есть огромный риск"... — Борис снова посмотрел на Веру Дмитриевну с надеждой. — Я же среди вас — чужак. Я давно это знаю. Чужой сижу, вроде случайно забрел сюда. И не знаю, что говорить и что делать. Так что ты, Дима, напрасно уж так. Умер мой лучший друг, моя жена меня... изменила мне с ним. Теперь у нее, оказывается, будет ребенок от моего погибшего друга, к которому она не ушла, как выясняется, из-за меня. Так она мне сказала и не раз. Чтобы я оценил жертву и понял всю сложность ситуации. А я и так понимаю эту сложность и думаю — не много ли для одного человека? Что же вы на меня смотрите? Может ли человек это выдержать? Чего вы ждете от меня? Я вот шел по улице и слышу, два мужика разговаривают. Чиновники, видно, среднего веса. Один другому говорит: "Он с ног валит и топчет". Другой спрашивает: "Топчет?" Тот отвечает: "Топчет, а потом рвет". И так они спокойно говорят о чем-то. А я слушаю и думаю: "О ком это они? Или собака или зверь, наверное, но топчет-то кого? Человека, вот кого", дошло до меня. Мы улицу переходили, на переходе стояли, вот я и услышал случайно их разговор и на лица их посмотрел, спокойные такие лица, сонные даже. Вспомнил я об этом разговоре у Колиного гроба почему-то. Не знаю, есть ли Бог,

вряд ли есть, но дьявол уж точно есть. Это он мне шептал: "Ну вот твой соперник мертв, уничтожен. Ты отомщен". Тут я и вспомнил тот разговор на переходе и выздоровел. Я даже крикнуть захотел: "Оставьте меня в покое! Я не хочу ненавидеть!" Меня учат ненавидеть, валить на землю и топтать, учат уничтожать. С детства. А я плакать хочу. Мне обидно. Меня смертельно обидели. Нет, не обидели. Меня убили, расстреляли. Самые близкие мне, взяли и убили. Но я не умею плакать. Да, да, я понимаю, вот только сейчас, что вам лучше потому, что вы верите, а я — нет. Что я могу сказать? Вы скажите мне: как мне жить теперь? Что мне делать? Научите меня, если вы все знаете! — голос Бориса дрожал.

Маша увидела, как Дима взял за руку Зину. Она плакала.

— Зачем ты плачешь, Зина? Это — вздор все, — сказал Борис и жалко улыбнулся.

— Что? Вздор? — Зина не поняла его.

— Дьявол и все это. Это я так думал сам.

— Ты верен себе, — Маша посмотрела на него с раздражением, потом перевела взгляд на мать.

Вера Дмитриевна снова закрыла глаза, лицо бледное и на лбу появилась испарина.

Ее мучал сильнейший приступ, боль захватила сердце и горло. Если бы их здесь не было, если бы они ушли, можно было бы стонать, но теперь надо терпеть. Надо сейчас вдохнуть воздуха как можно больше и с ним вдохнуть силу... Господи, помоги мне! Какие у Бориса прекрасные детские глаза, потерянные, и смущенная улыбка. Он смотрит на нее,

как Настя. Неужели Маша не видит его? Он стыдится сейчас себя и поэтому так неуверен. Что ему сказать? Как ему выдержать? Это выдержать почти невозможно. И что стоят ее поучения? У нее нет больше сил поучать их. Видно, ей осталось совсем мало. Как Маша назовет девочку? Настя? Нет, не стоит. Еще одна Настя?

Колокола звенели еле слышно, их опять заглушала боль.

— Мама, что с тобой? Ты заснула? Тебе плохо, мамочка? Ты спишь?

— Жарко и от лекарства голова кружится. Боря, я неважно себя чувствую теперь. Но я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты не бросал их. Если это возможно. Но не из-за меня. А сами по себе, если вы сможете быть великодушными. Это — крест, но вы не бойтесь его. Будьте великодушны. И ты, и Маша. Это возможно, люди умеют это, если захотят.

— Да, Вера Дмитриевна, — Борис налил рюмку и выпил. Рука его дрожала. — Вы только не волнуйтесь, вам нельзя, не нужно волноваться. Ведь я ничего не хочу плохого, и не хотел никогда, вы же знаете это, но так почему-то случилось... Не по моей вине, поверьте же вы мне!

— Никто тебя и не обвиняет, Боря, — Дима встревоженно посмотрел на него, — знаешь, я вот слушаю вас и очень волнуюсь, боюсь чего-то. И вспомнил вот, знаешь, вспомнил почему-то отца своего. Когда он захотел вернуться из эмиграции в Россию после войны, его предупреждали, что он здесь погибнет. Отец и сказал тогда: "Я все равно

смертен, мы все обречены на смерть. Зачем же выгадывать несколько лет. Я лучше поживу столько, сколько мне даст Господь, естественной жизнью, жизнью смертного человека, который знает, что он умрет и от того именно, как он умрет, и зависит его воскресение". Мне потом, когда он умер в лагере, мама часто это рассказывала. Я сначала не понимал этой простоты, только потом дошло, что такое естественная жизнь. Это жизнь в Истине и больше ничего. Покой — это призрак, фальшь, за которой в двадцатом веке гонятся, как в никаком другом... Так что ничего сложного нет: или мы говорим — да, или — нет. Если "нет", надо вообще уезжать отсюда, надо тебе и от Маши бежать, здесь легко не будет. Но ты ей и ребенку нужен будешь, вот в чем дело. Я бы остался, думаю. А ты смотри... Извини, что вмешался.

Борис встал, снова сел, потом подошел к Маше, посмотрел на ее склоненную голову, хотел что-то сказать, махнул рукой сокрушенно и сел на свое место.

— Не знаю я, что говорить. Я вроде все сказал. Если так подумать глубоко и бесстрашно, то, повидимому, я во всем виноват с самого начала. Раз ты разлюбила меня. Ты ведь разлюбила меня, это факт. За все надо отвечать. Сегодня не ответишь, завтра потребуют. Я должен был уйти. Оставить тебя в покое, но я не решился, ждал чего-то, не верил. И дождался...

— Конечно, дождался. Если бы ты ушел, может быть и не было бы этого...

— Что ты, Маша! Перестань, хватит уже! — Зина всплеснула руками. — Зачем ты?

— А что? Человек погиб, что теперь выгадывать?! — в глазах у Маши стояли слезы.

— Значит, я виноват? Ну да, я — убийца! Я? Нет. Не выйдет так. Не выходит так. — Борис подошел к двери, тихо открыл ее и, не оглядываясь, вышел.

— Пойди за ним, пожалуйста, — прошептала Вера Дмитриевна. — И Настю задержи...

— Не пойду, сил нет. Сам вернется.

Входная дверь тихо захлопнулась. Настя перестала играть и вошла к ним. Она оглядела всех и спросила:

— А Боря где? В магазин пошел, что ли?

— Скоро придет, — сказал Дима.

— Ему не понравилось?

— Что?

— Музыка. Правда, похожа, как в церкви?

— Понравилось. Ты еще играй. Еще. Пожалуйста. — Дима встал и поцеловал ей руку. — Ты очень добрая девочка, самая добрая.

Настя еще раз обвела всех тревожным взглядом и спросила:

— Маша, а ты тоже хочешь послушать?

— Хочу, если ты не устала.

— Хорошо. Теперь я сыграю вам песенку "Щебет птиц". Ту старую свою, она еще тому мальчику нравилась. Помнишь, тетя Верочка? — спросила она уже из коридора.



Вера Дмитриевна кивнула головой. Она хотела улыбнуться Насте, но не успела.

## 12

”Христос с тобой, дорогая моя! Вот и в этот раз я не смог приехать к тебе. Уже совсем было собрался идти на станцию, но прибежали ко мне и сказали, что с матерью нашего дьякона случилось несчастье: она упала и сломала себе ногу. Илья срочно выехал к ней, а я теперь должен остаться, отцу Сергию одному совсем невозможно. Как только вернется дьякон, я приеду в город, может быть, даже на неделю.

С тех пор, как мы проводили семью Василия Ипполитовича, прошло уже несколько дней, а я все не могу забыть их отъезда. Если писать обо всем, что я увидел, то письмо мое стало бы непомерно длинным, а я боюсь утомлять тебя своими письмами и потому решил написать о двух моментах, остальное в подробностях расскажу при встрече.

На проводах этих было шумно и отчаянно как-то. Я заметил отчаянность еще когда у них была вечеринка прощальная. На аэродроме было потише, приближение последнего момента все-таки сковывало друзей Георгия Васильевича. Я тебе о них еще расскажу. Это новое какое-то племя людей, рыцари политических сражений, дуэлянты нового качества, хотя чем-то напоминают извечных русских дуэлянтов своим бесстрашием. Азарт и четкое правосознание, то есть хорошее знание своих прав и ясное пред-

ставление, в чем и как они могут быть нарушены властями, придает этим рыцарям то самое отчаянное состояние беспокойства, которое легко может быть расценено непроницательным взором, как состояние спокойное. Они бесстрашны, эти дуэлянты, ибо знают, что их ждет. Но они — люди чести, и вот это забытое почти понятие они напомнили мне. Ведь когда шли на дуэль наши предки, они тоже боялись, их могли убить почти наверняка, но они были люди чести. Ни здесь, ни там у дуэлянтов не было, конечно, ни мира, ни покоя, ни гармонии, иначе они бы не вступали в поединок. Но в безбожном сознании кодекс чести занимает место заповедей. Прости меня, я отвлекся все же, это оттого, что они понравились мне.

На аэродроме рыцари вели себя сдержанно и по-деловому. Они осуществляли миссию некоего эскорта, который должен препроводить ответственный экипаж к месту назначения. И вот на фоне этого делового организованного прощания, мне даже вспомнилось слово "эвакуация", три человека самым очевидным образом страдали, не в силах скрыть этого. Страдание их не могли оскорбить деловитость и энергичность устроений. Ни Василий Ипполитович, ни Юля, ни Егорушка не замечали того, что делается вокруг. Юля — девушка, маленького роста, наверное, не очень красивая, бывшая ученица Георгия Васильевича. Как я понял из некоторых реплик Василия Ипполитовича, Юля давно уже любит Георгия Васильевича. Собственно, это не нужно было узнавать, Юля этого не скрывала. Она не стыдилась Веры, которая, казалось, хотела уйти с

глаз долой, но не из-за Юли, а сама по себе, она была как после похорон, когда человек выплачется до дна и становится невесомым, словно все из него вышло через муку и слезы. Вера и была такой, она хотела, чтобы скорей все кончилось. Так она и сказала мне.

Юля не стыдилась никого — ни Егорушки, ни Василия Ипполитовича — ее глаза, да и весь облик ее говорил: я прощаюсь навсегда и это подобно смерти.

Но прощание кончалось, их звали на таможеню.

Они ушли уже насовсем, только один или два раза мы еще увидели их.

Перед тем Егор сказал мне: "Как я не хочу уезжать! Вы только маме и деду не говорите!" А потом спросил: "Как вы думаете, я вернусь еще сюда?" И я ответил: "Непременно вернешься". "А дед — нет?" И я не мог ему соврать. "Дед не вернется". Он заплакал.

А дед и уходил из России без всяких надежд. После долгого таможенного осмотра отъезжающих проводят через стеклянный туннель, соединяющий здание аэровокзала с полем, и если выйти на улицу и подойти поближе к аэродрому, решетке и воротам (туда Юля нас привела), то можно увидеть этот туннель — он кажется подвешенным — и проходящих по нему.

Первыми прошли Вера и Егор. Вера шла легко и быстро, хотя сумки, даже нам видно было, оттягивали руки. Она не хотела смотреть в город, то есть на нас. Егор шел рядом, чуть отстав и поглядывал

по сторонам. Увидел он и толпу провожающих, забеспокоился, оглянулся назад, наверное, крикнул отцу и деду, что видит нас. Задержался ненадолго, скорбно опустил голову и пошел вслед за матерью.

Потом медленно прошел Георгий Васильевич, подошел к стеклу туннеля и, всматриваясь вдаль, снял шляпу, помахал широко ею, махнул вдруг отчаянно рукой и быстрым шагом пошел вперед.

И тут появился Василий Ипполитович, будто ждал, пока пройдет сын и хотел проститься с нами без свидетелей.

Как только показался его черный силуэт высокого худого старика с остроконечной бородкой, в шляпе, с тростью, я подумал, что никогда прежде не замечал, какой он красивый человек. Красивый и стройный, с прекрасной осанкой, а ведь ему очень много лет. Это была первая моя мысль, она мелькнула и тотчас исчезла, я глядел во все глаза на него, хотел запомнить навсегда. Хоть и мало были знакомы мы с ним, но близость наша стала такой полной, словно долгие годы ее укрепили.

Он остановился, обернулся к нам и прижался к стеклу, как к иконе прикладываются губами и лбом, потом снял шляпу и низко поклонился трижды. Так кланяются в наших храмах миру, принося покаяние. Он прощения просил за то, что нас покидает. Потом выпрямился, надел шляпу и медленно ушел.

И тогда я понял вдруг через него, через этого старика, смысл сегодняшней нашей эмиграции, не той, конечно, о которой он рассказывал во время

нашей первой встречи. Помнишь, я пытался тебе еще тогда в письме изложить его мысли. Не той, что проклинает Россию, с брезгливостью перечисляя ее беды. Нет, русские судьбы вторгаются в плоть мира, в его тело. Они несут миру трагедию России, от которой он хотел бы эгоистически отвернуться или в лучшем случае откупиться. А они будоражат его, они, каждый, кто едет туда, поддавшись трижды понятной человеческой слабости и осмыслив свою *вину* перед покинутой родиной, несет в себе заряд российской трагедии, которая может перерасти в трагедию всего человечества, всего мира. А мир един и человечество едино во Христе, едино в страдании.

Вплетаясь в плоть мира, русские судьбы, взрывают его иллюзорное благополучие, показывая тщету внешнего устройства. Разрывы эти благодатны. Для нас же отъезд каждого — невосполнимая потеря, для мирового единства, надо надеяться, приобретение.

Так думалось мне, когда исчезли в самолете наши дорогие путешественники. Я сразу же посмотрел на Юлю — лицо ее было белым, я даже испугался, подумал, что она может упасть. Мы все обступили ее, я послушал у ней пульс, рыцари стали утешать ее, кто-то из них сказал: "Ну, теперь он в безопасности, не нужно слушать шаги на лестнице и ждать обысков и арестов".

Она постепенно порозовела, улыбнулась. И тогда заплакала в первый раз. Лица рыцарей смягчились и я поразился спрятанной доселе детскости их.

Это в каждом есть и в каждом возрасте — когда человек отдаст свое напряжение и станет ненадолго самим собой, из него обязательно ребенок выльется. Теперь и они стали мне близкими, чудо любви соединило нас.

Но я уже думал только о тебе. Каким-то странным образом, внезапно выглянувшая в них детскость напомнила мне тебя. Меня осенила одна мысль, которую я, кажется, долго душил в себе разными способами. И теперь оттягивал момент для ее изложения. Не знаю, когда она родилась, эта мысль, но знаю, что явилась она не тогда, а жила во мне прежде, только я стыдился ее. А теперь не стыжусь и решил просить тебя стать моей женой. И как можно скорей, не ожидая твоего выздоровления или даже улучшения болезни. Пусть ничто не мешает этому, да и ничто, собственно, не может помешать нам, если ты согласишься. Отец Сергей обвенчает нас без всяких свидетельств из загса и я заберу тебя к себе. Если ты будешь плохо себя чувствовать, мы поставим твою постель у окна и ты будешь видеть синие маковки и кресты нашего храма. И березы растут недалеко от этого окна. Ты поправишься здесь у меня. Здесь тихо и радостно жить вблизи храма и леса. Я буду читать тебе стихи, которые ты любишь и мы будем вместе молиться. Мы ведь все равно давно уже вместе с тобой. Господь одарил нас любовью, зачем же мы не берем венец из Его милосердных и протянутых к нам рук? А что, если это принесет нашим душам в предназначенной им вечности еще одну муку — муку несоединимости, которую

мы сами избрали. Я говорю и за тебя тоже, но как же иначе, ведь я знаю, что ты думаешь так, как я. И я знаю, с каких пор так стало, с каких пор в мои открытые ладони вложил Господь Свое благословение. И я стал слышать тебя, как себя.

Это было в лесу. Я заметил, что ты боишься леса, хотя ты скрывала это. Какая-то напряженность и настороженность сковывала тебя и я не мог понять, отчего ты нахохлилась. И понял на опушке, на полянке, когда мы вышли навстречу свету, уже не загражденному ничем. Ты вздохнула облегченно и смущенно улыбнулась, и я увидел в твоём лице радость. Так улыбаются дети, когда минет опасность. Это я еще очень любил наблюдать в юности, когда после института работал педиатром. Как пугались дети вторжения, если они его замечали, в их природу, и как облегченно вздыхали, когда страх оставлял их!

Там на опушке леса я и услышал тебя впервые.

Верочка, ты прости, что я пишу тебе, что не смог приехать. И сказать тебе это, глядя на тебя. Но я сейчас вижу тебя. Ты лежишь на спине, и у тебя измученное болью лицо, а седые волосы, как венец, обрамляют твоё дорогое лицо. У тебя руки маленькие, но сильные и очень натруженные, и я люблю смотреть на них и на твоё лицо. И чем больше ты нуждаешься в моей защите, чем слабей ты, чем хуже тебе, тем неотложней я хочу защитить тебя любовью своей.

Вот и все, что я хотел тебе сказать. Я слышу тебя, ты спрашиваешь: не поздно ли?

Нет, не поздно. Я договорюсь с отцом Сергием обо всем. Что касается практических дел, то мы решим их, как только я вырвусь в город.

В окно наше смотрят березы. Они ждут тебя, а кресты храма горят золотыми огнями и блики огней ударяют в наше окно.

Сохрани тебя Господь!

Низко кланяюсь тебе. Твой Н.Г.

Письмо это Вера Дмитриевна не смогла прочесть. Когда его принесли, она была без сознания и через несколько часов скончалась.

Ее похоронили на сельском кладбище на опушке леса, недалеко от храма, синие маковки которого глядят в окошко Николая Георгиевича.

Когда земля принимала ее тело, над лесом раздался тихий перезвон колоколов.

1974 г.



Т. Горичева

## О "БЛАГОВЕСТЕ" З. КРАХМАЛЬНИКОВОЙ

Повесть Зои Крахмальниковой — это рассказ о "раннем утре" духовного пробуждения России.

Россия сегодня вознесена опытом ГУЛага — и внутреннего и внешнего — на Крест, а крест приближает к Небу. Говоря словами одного из героев повести, в России живут и самые счастливые люди, и люди самые несчастные. Поэтому расставание с Россией оплакивается как уход в смерть, как "подобие смерти".

То, что подвижникам духовной жизни было дано почувствовать через молитву и духовную брань, о чем дерзновенно пророчествовали русские гении — Достоевский и Гоголь, в сегодняшней России осуществляется наглядно, зримо, каждодневно. "Здесь воочию для всего мира и в назидание ему дискредитированы все три искушения дьявола: ни чуда нет, не превращены камни в хлеб, напротив, совсем может исчезнуть, ни власти над душами нет, только над желудками. И мистический роковой смысл этого поражения открывается сегодня миру. Впервые в истории человечества созданное атеистическое государство продемонстрировало всему миру, что атеизм есть рабство".

Духовные истины открываются сейчас в каж-

додневной, мучительной практике существования. Герои повести пишут друг другу письма о силе терпения и смирения, на собственном нелегком опыте открывают они единственно возможный путь — путь Креста.

Дух в повести, как и во всем творчестве Зои Крахмальниковой, реален, и духовное не сводится к морали, политике или "игре ума". Вся жизнь человека определяется "алмазными законами аскетики" (о. Павел Флоренский) и предательство Духа неизбежно грозит гибелью, распадом человеческой личности. Об этом Крахмальникова говорит как художник и проповедник, выводя в своей повести несколько человеческих судеб, которые стали жертвами излюбленных советских мифов и идолов.

Один из этих идолов — всезнающий и ироничный интеллектуализм. К "мозговой элите" принадлежат три героя повести — Коля, Борис, Миша. В их духовном архетипе инфантильная формула "хочу все знать" соединилась с самодостаточностью и самодовольством. "Бухгалтеры, прикинувшиеся эйнштейнами", они кончают одинаково плохо. "Пирры ума" завершаются полным разложением личности — Коля превращается в алкоголика и самоубийцу, Миша же, дожив до сытой и брюзливой старости, кончает пошлыми гурманскими сюжетами "водки со сметаной".

Дьявол однообразен — любит говорить Вера Дмитриевна, главная героиня повести. Об однообразии и бесплодности дьявола учили Святые Отцы. Зоя повесть здесь, как и во всем другом, — живой, художественный комментарий к вечным истинам церковного предания. Человеческое падение — работу дьявола — Зое удастся показать в четких, за-

поминающихся, выразительных картинах-образах. Все начинается с самодостаточности и кончается свободой удовольствия или, еще хуже, свободой убийства. Зоя дает четкую метапсихологию дьявольских казней — ее описанию страха, скуки, одиночества позавидует любой экзистенциалист и феноменолог.

Святые Отцы отделены от нас веками и тысячелетиями. Но они нужны нам сегодня более, чем когда бы то ни было. Мир, прошедший через Хиросиму и ГУЛаг, не может по-прежнему питаться благодушными, просветительскими истинами — "человеческим, слишком человеческим". Наше глубоко больное время нуждается в сильных лекарствах и длительном лечении. В России, которую дьявол избрал для великих мучений и искушений, уничтожены не только все духовные, но и всякие другие, средне-буржуазные, нормальные ценности — все "растоптано копытами, раздавлено гусеницами, колесами, превращено в прах". Люди почти смертельно больны, даже у лучших из них — "повреждение ума, утрата, паралич какого-то зрительного центра". Не даром главная героиня повести — врач-психиатр. Здесь опять переключка с аскетической литературой: там говорится о церкви как о "врачебнице", о священниках — как о "лекарях".

Мысль Зои Крахмальниковой максималистична. В вопросе о спасении не может быть компромиссов, нужно сделать обязательный выбор — Бог или дьявол, духовность или материализм, путь удовольствия или путь Креста.

Этот духовный максимализм, как и максимализм всей святоотеческой традиции, не есть узость или предопределенность, ибо всякий человек может спастись, как бы глубоко он ни упал.

Даже самые страшные убийцы остаются людьми. Одна из наиболее замечательных сцен — сцена с больным из КГБ, Быковым. Измученный тяжелой ношей своих преступлений, доведенный дьяволом до безумия, он, сидя на больничной койке, шепчет уже полуживыми губами "радуйся". Перед ним — маленькая картонная иконка Божьей Матери.

В повести говорится об обычных, столь частых и столь безнадежных неустроенностях нашего советского бытия: распадаются семьи, герой кончает самоубийством, русские люди едут из России — и все же повесть оставляет светлое, радостное ощущение. Это ощущение обещано еще на первой ее странице: "Плен, пленники, пленная страна и пленные колокола ее. Вот-вот, именно эти слова сейчас поют колокола, но почему же радость?"

Почему же радость, когда "положительные" герои повести, христиане, кажутся бессильными перед катастрофами жизни и нелепостью мира — они ничем не могут помочь своим ближним. Подобное же обвинение не раз бросали в лицо Достоевского: почему его старцы, его Алеша Карамазов ничем не помогают в трудной жизненной ситуации, кажутся бездейственными?

Можно ответить так: герои действуют, но только по-другому. Они действуют на окружающих самой своей личностью, новой жизнью, внутренней тишиной и свободой, которую уже никто не может отнять у них. Христиане — победители уже теперь, в этом мире, отсюда ощущение покоя и радости, которое оставляет повесть Зои Крахмальниковой. Сегодня автор ее сам идет тяжелым и благодатным путем Креста.

Господи, не оставь рабу твою Зою!

Зоя Крахмальникова родилась в 1929 году в Харькове. В 1954 году закончила Литературный институт им. Горького. Она — автор нескольких десятков статей, книг, переводов, опубликованных в Советском Союзе. До 1974 г. работала в Институте социологии АН СССР, откуда была незаконно уволена в 1974 г. С тех пор нигде работы не получила.

С 1971 года в ее литературном творчестве начался новый период, который связан с приходом к христианству, к православию. Зоя Крахмальникова написала несколько книг, "живущих" в самиздате — романы, повести, статьи о философии культуры (смотри "Надежда" № 2, 4, 6 и "Грани" № 118), посвященные проблемам религиозного возрождения в России, поискам веры, поискам Церкви...

С 1976 года она редактор-составитель сборников "Надежда", имеющих хождение в самиздате (вышло уже десять выпусков, издано типографским способом за границей в изд. "Посев" — 7 выпусков, 8-ой в наборе).

Зоя Александровна Крахмальникова была арестована в Москве 4 августа 1982 года. Ее обвиняют в "антисоветской агитации и пропаганде" (ст. 70 УК РСФСР).

## **В издательстве ВЕРА ВО ВТОРОМ МИРЕ вышли на русском языке:**

**ХРИСТИАНСТВО И АТЕИЗМ**, том 1, 1980-1981, 216 стр.  
Zollikon 1982, заказ № 74.

Эта книга содержит подлинную переписку группы лиц из среды интеллигенции в Советском Союзе, в числе которых христиане, атеисты, агностики, скептики. Они спорят о смысле жизни и о вере в Бога. Дискуссия ведется на высоком философском и теологическом уровне. Книга составлена и подготовлена к печати в России. Корреспонденты пожелали остаться неназванными.

Для западного читателя переписка интересна тем, что позволяет познакомиться с неподцензурным образом мыслей современной интеллигенции в Советском Союзе. Для людей в России эта брошюрка является сокровищницей идей и побуждением к размышлению.

**Анатолий Левитин, Вадим Шавров.**

**ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ СМУТЫ (1922-1946 гг.)**  
3 тома в одной книге (296, 342 и 432 стр.)  
Zollikon 1978, заказ № 62.

Фундаментальный труд об обновленческом расколе церкви при советской власти. В основе — множество ценных документов и свидетельских показаний. В приложении очерк А. Левитина-Краснова "Закат обновленчества".



Couverture N. Dronnikov.